

РОБЕР
АНТЕЛЬМ



РОД
ЧЕЛЮ
ВЕЧЕ
СКИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНА ЛИМБАХА

Робер Антельм
Род человеческий

«Издательство Ивана Лимбаха»

1957

УДК 821.133.1-312.6 "19" + 94 (44) "1939/1945" (=411.16) =
161.1 = 03.133.1

ББК 84.3 (4Фра) 6-442.3 + 63.3 (4Фра) 62 (= 611.215)-021/83.3

Антельм Р.

Род человеческий / Р. Антельм — «Издательство Ивана
Лимбаха», 1957

ISBN 978-5-89059-590-4

«Род человеческий» (1947) – автобиографическая повесть, а точнее быть – первая и последняя книга Робера Антельма (1917–1990), французского писателя, поэта, участника Сопротивления, представляет собой единственное в своем роде свидетельство, описывающее расчеловечивание людей в лагерях и ту волю к жизни, в силу которой человек – несмотря ни на что – сохраняет свою принадлежность к человечеству. Оставшаяся поначалу почти незамеченной, книга с течением времени была переведена на несколько европейских языков и вызвала к жизни целый ряд основательных философских интерпретаций феномена «лагерной жизни» – события заключенных, охранников, пособников. О книге Антельма писали Жорж Батай и Морис Бланшо, Сара Кофман и Эдгар Морен, Филипп Лаку-Лабарт и Жан-Люк Нанси, Маргерит Дюрас и Жорж Перек, утверждавший, что с появлением этой книги «литература родилась заново».

УДК 821.133.1-312.6 "19" + 94 (44) "1939/1945" (=411.16) = 161.1 =
03.133.1

ББК 84.3 (4Фра) 6-442.3 + 63.3 (4Фра) 62 (= 611.215)-021/83.3

ISBN 978-5-89059-590-4

© Антельм Р., 1957

© Издательство Ивана Лимбаха, 1957

Содержание

Предисловие	6
Часть первая. Гандерсхайм	8
Конец ознакомительного фрагмента.	50



Программа содействия издательскому
делу «Пушкин» Французского института
при Посольстве Франции в России

Programme d'aide à la publication
« Pouchkine » de l'Institut français près
l'Ambassade de France en Russie

Робер Антельм

Род человеческий

*Посвящается моей сестре Марии-Луизе, депортированной и
умершей в Германии*

ROBERT ANTELME
L'Espèce humaine

© Éditions Gallimard, Paris, 1957
© С. Л. Фокин, перевод, послесловие, 2025
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2025
© Издательство Ивана Лимбаха, 2025

Предисловие

Два года назад, в первые дни после нашего возвращения, мы все, как я полагаю, были во власти настоящего бреда. Нам хотелось выговориться, быть наконец-то услышанными. Нас уверяли, что за нас говорит наш внешний вид. Но мы только-только вернулись, привезли с собой свою память, еще живой опыт и испытывали безумное желание рассказать все как есть. Тем не менее с первых дней мы столкнулись с невозможностью преодолеть разрыв между языком, которым мы владели, и этим опытом, во многом продолжавшим жить в наших телах. Разве можно смириться и не попытаться объяснить, каким образом мы дошли до такого состояния и как продолжаем в нем жить? Тем не менее это было невозможно. Стоило нам начать, и мы сразу задыхались. То, что предстояло сказать, нам самим начинало казаться невообразимым.

В дальнейшем это несоответствие между пережитым нами опытом и повествованием о нем лишь усугубилось. Таким образом, мы имели дело с реальностью, о которой говорится, что она превосходит воображение. Стало очевидно, что высказать это мы могли не иначе как через выбор, то есть опять-таки через воображение.

Я попытался изложить здесь жизнь партии заключенных (Гандерсхайма), подчинявшейся немецкому концентрационному лагерю (Бухенвальду).

Сегодня известно, что в немецких концентрационных лагерях существовали всевозможные уровни угнетения. Несмотря на различия в типе организации, существовавшие в отдельных лагерях, различия в применении одного и того же правила могли несоразмерно увеличить или убавить шансы на выживание.

Один лишь количественный состав нашей команды обуславливал тесную и постоянную связь между заключенными и эсэсовским начальством. Роль посредников была сведена к минимуму. Вышло так, что в Гандерсхайме это промежуточное звено сложилось исключительно из немцев-уголовников. Команда насчитывала около пятисот человек, и никто из нас не мог избежать прямых контактов с эсэсовцами; при этом руководили нами не политические, а убийцы, грабители, воры, мошенники, садисты или спекулянты, промышлявшие на черном рынке. Именно они, находясь в подчинении эсэсовцев, были нашими непосредственными и абсолютными господами.

Надлежит заметить, что борьбу за власть, которую вели между собой политзаключенные и уголовники, ни в коем случае нельзя уподобить борьбе между двумя противоборствующими фракциями, помогающими власти. Это была борьба между людьми, стремившимися к установлению определенной законности, насколько последняя вообще могла иметь место в этом адском обществе, и людьми, чья цель была в том, чтобы воспрепятствовать установлению какой бы то ни было законности, ибо только в беззаконном обществе они могли чем-то поживиться. При господстве последних закон СС действовал в полную силу. Чтобы жить – мало того, чтобы жить лучше других, – уголовники были вынуждены ужесточать закон эсэсовцев. В этом отношении они играли роль провокаторов. С невероятным упорством и невероятной последовательностью они провоцировали и удерживали среди нас выгодное для них состояние анархии. Эти заключенные в совершенстве усвоили правила игры. Они не только утверждали в глазах эсэсовцев свое коренное отличие от нас, но и становились их незаменимыми пособниками и потому действительно заслуживали лучшей жизни. Замучить человека голодом, чтобы затем наказать его за то, что он ворует очистки, и тем самым заслужить вознаграждение от эсэсовцев, например лишнюю порцию супа, которая не достанется тому же заключенному, – такова была общая схема их тактики.

Таким образом, наше положение невозможно уподобить положению заключенных, находившихся в лагерях или командах, где руководство обеспечивалось политическими. Даже если эти начальники из политзаключенных порой развращались, редко случалось, чтобы они совер-

шенно утрачивали понятие солидарности, сплоченности и, главное, ненависть к общему врагу, не позволявшие им доходить до тех крайностей, в которые без зазрения совести впадали уголовники.

В Гандерсхайме нашими начальниками были наши враги.

Поскольку административный аппарат только усиливал эсэсовское угнетение, коллективная борьба была обречена на провал. А провал этот сводился к тому, что нас медленно истребляли эсэсовцы, объединившиеся с капо. Все попытки сопротивления, которые предпринимались некоторыми из нас, были тщетными.

Перед лицом этой всемогущей коалиции наша задача была как нельзя более скромной. Она заключалась в том, чтобы выжить. Борьба, на которую могли решиться лучшие из нас, была исключительно индивидуальной.

Я излагаю то, что пережил сам. Здесь нет какого-то непомерного ужаса. В Гандерсхайме не было ни газовой камеры, ни крематория. Весь ужас здесь в мраке, полном отсутствии точек отсчета, одиночестве, непрестанном унижении, медленном уничтожении. По всей видимости, единственным стимулом нашей борьбы была неистовая и почти всегда индивидуальная потребность оставаться человеком – вплоть до самого конца.

Думается, никогда прежде известные нам герои, исторические деятели или литературные персонажи, герои, кричавшие о любви, одиночестве, мщении, страхе перед бытием или небытием, боровшиеся с несправедливостью или унижением, не оказывались в таком положении, когда их единственной и последней потребностью было ощущение принадлежности к роду человеческому.

Это утверждение, что мы чувствовали, как оспаривалась сама наша человеческая суть, наша принадлежность к роду, может показаться неким ретроспективным ощущением, объяснением задним числом. Тем не менее именно это мы постоянно и самым непосредственным образом ощущали; именно этого, впрочем, от нас добивались другие. Когда под вопрос ставится человеческая сущность как таковая, возникает практически биологическая потребность ощущения принадлежности к роду человеческому. Она наводит на размышления о границах этого рода, о расстоянии, отделяющем его от «природы», об отношении к последней и об одинокости этого рода; в конечном счете из них, этих размышлений, складывается отчетливое представление о его неделимом единстве.

1947

Часть первая. Гандерсхайм

Я пошел пописать. Было еще темно. Рядом ссали другие; никто не говорил друг с другом. За писсуаром находилась выгребная яма, с невысокой стенкой вокруг, на которой сидели наши, спустив штаны. Сортир был под небольшим навесом, писсуар оставался открытым. Сзади слышался шум деревянных башмаков, кашель, кто-то шел нам на смену. Сортир никогда не пустовал. В любое время суток над писсуаром клубился пар.

Темно здесь не было; здесь никогда не бывало совершенно темно. Мрачные прямоугольники блоков стояли стройными рядами, сквозь которые пробивался желтоватый свет. Сверху, из кабины самолета, были видны, наверное, эти желтые равномерно распределенные пятна, терявшиеся в черной массе лесов, которые закрывали собой всё. Но сверху ничего не было слышно; если что-то и доносилось, то шум мотора, но никак не музыка, которую слышали только мы. Не было слышно кашля и топота деревянных башмаков по грязи. Никто не видел этих обритых голов, которые смотрели вверх и слушали шум моторов.

Через несколько секунд, облетев лагерь, летчики должны были видеть другие огни, тоже желтые, почти неотличимые от первых, это были огни домов. Вооруженные компасами и картами, они тысячу раз пролетали над лесом, над головами тех, кто смотрел в небо, кто прислушивался к шуму моторов, а также над теми, кто спал на голых досках, равно как над высыпавшимися влать эсэсовцами. Днем летчики могли видеть трубу, высокую, будто заводскую.

Я вернулся в блок, потому что этой ночью на улице не на что было смотреть. В небе ничего не было и наверняка ничего не должно было произойти. Блок – здесь все свои, это наш дом. Здесь мы спали, сюда когда-то прибыли. Я забрался на свой матрац. Поль, его арестовали вместе со мной, спал рядом. Жильбер, с которым я встретился в Компьене, тоже. Жорж спал внизу.

Ночь в Бухенвальде была тихой. Лагерь – словно уснувшая гигантская машина. Время от времени на вышках зажигались прожекторы, глаза эсэсовцев приоткрывались, потом снова закрывались. В лесу, окружавшем лагерь, делали свои обходы патрули. Собаки не лаяли. Часовые были спокойны.

Ночной дежурный, испанский республиканец, топтался в сандалиях по центральному проходу блока, между двумя рядами коек. Он дожидался побудки. В помещении влажно, свет слабый. Ни малейшего шума. Время от времени кто-нибудь слезал со своего матраца и шел отлить. Когда кто-то собирался спуститься, дежурный подходил и дожидался, пока тот слезет. Дежурный надеялся, что товарищ с ним заговорит, но бедолага, чтобы лишний раз не шуметь, брал свою обувь в руки и направлялся к двери.

Дежурный все же спрашивал:

– Все нормально?

Тот кивал и отвечал:

– Все нормально.

Добравшись до двери, натягивал ботинки, потом выходил.

Дежурный опять начинал слоняться.

В нашем блоке были почти одни французы, несколько англичан и американцев. За те несколько недель, что мы здесь пробыли, многих французских товарищей уже отправили «на транспорт».

Сегодня была наша очередь.

Мы уже два дня знали, что нас вызовут сегодня утром, 1 октября 1944 года.

Отправление «на транспорт» не сулило ничего хорошего, это знали все. Все его здесь боялись. Но когда кого-то выбирали, наступало смирение. Тем более что для, так сказать, новичков страх перед отправкой «на транспорт» был абстрактным. Мы спрашивали себя, что может быть

хуже этого города, где мы задыхались, огромного, но перенаселенного города, в ходе жизни которого мы ничего не понимали. Когда старший по блоку, немецкий заключенный, кричал: «Alle Franzosen Scheisse!»¹ – все мы, пока еще несведущие, начинали понимать, в какое же дерьмо вляпались. С нами, французами, обходились как со злейшими врагами нацизма, третируя нас с какой-то особой, безрассудной жестокостью, причем не только нацисты, но и те, кто был «нашими», кто был, как и мы, врагами нацизма. В первые недели хотелось думать, что немецкие товарищи просто потеряли голову, изменили своим убеждениям, что за исключением французов все население Бухенвальда состояло из полуэсэсовцев, низших эсэсовцев: неважно, обриты у них головы или нет, они все равно превосходно изображали из себя эсэсовцев, господ, говоря на языке, которому те мало-помалу их научили. Может, это зараза такая, говорили мы между собой, – словом, привычка. Тем не менее язык был красноречив, слова как будто изменили своему смыслу: «Scheisse, Schveinkopf»². Эти слова относились вовсе не к эсэсовцам, как можно было ожидать, – они служили здесь исключительно для обозначения нас, французов. Так что вскоре нам стало казаться, что мы здесь самые притесняемые, низший класс заключенных.

Большинство из нас ничего не знало из истории лагеря, хотя эта история объясняла как правила поведения, которые заключенные вынуждены были устанавливать между собой, так и тип человека, который здесь был выкован. Мы думали, что это худший из концентрационных лагерей: Бухенвальд был огромен, и мы в нем словно терялись. Мы не понимали принципов и законов этого общества: прежде всего бросалось в глаза, что это – яростно противостоящий живым людям мир, спокойный и безразличный к смерти. В реальности это было лишь хладнокровие перед лицом ужаса. Мы еще не успели всерьез соприкоснуться с подпольем этого мира, о существовании которого новички даже не подозревали.

Но один товарищ, прибывший вместе с нами в августе, был до такой степени замучен капо-немцем на одной из первых переключек малого лагеря, что сошел с ума. И теперь, когда кто-нибудь из нас подходил к нему с куском хлеба и ножом, он закрывал лицо руками и умолял: «Не убивайте меня!» Тем, кто приезжал позже, казалось, что они могут договориться между собой. Вот почему они думали, что при транспортировке, когда народу будет не так много, они смогут держаться вместе и соблюдать свои законы. «Хуже, чем здесь, быть не может, – говорили они. – Лучше пять лет во Френе³, чем месяц здесь. Слышать больше не хочу о крематории».

В общем, сегодня утром, после побудки, бельгиец-Stubendienst⁴ вышел из своей комнаты с листом бумаги, где были напечатаны имена. Бельгиец был худым, с маленькой головой и маленькими глазами, на черепе красовался огромный берет. Едва рассвело. Мы держались в проходе. Бельгиец начал выкрикивать имена. Поль, Жорж, Жильбер и я, мы стояли, прислонившись к спинкам кроватей. Ждали. Имена назывались не в алфавитном порядке. Те, кого уже называли, сгрудились у входа блока, возле двери. Они были назначены к отправке.

Имена звучали и звучали. Группа названных росла на глазах. А для тех, кого не называли, отправка приобретала новую реальность; становилось ясно, что эти больше не пойдут работать в карьер, больше никогда не увидят, как дымит труба крематория. Никто не знал, куда их повезут, куда поедет эшелон, но внезапно это стало казаться переменной – прежде всего и в самом сильном смысле этого слова. Чем больше набиралось названных, тем сильнее боялись остальные, не рискуют ли они лишиться приключения, путешествия.

¹ «Все французы – дерьмо!» (нем.). Здесь и далее примечания переводчика.

² «Дерьмо, свиная башка» (нем.).

³ Коммуна во Франции, где находится одна из самых знаменитых тюрем страны.

⁴ Заключенный, отвечающий за порядок в блоке и подчиняющийся старосте блока, тоже заключенному (Blockältester), а тот, в свою очередь, подчиняется старосте лагеря, тоже заключенному (Lagerältester), который руководит всеми капо и отвечает за функционирование лагеря перед SS. Примеч. автора.

Назвали Поля. Мы смотрели, как он присоединился к остальным. Назвали еще кое-кого. А Жорж, Жильбер и я, мы по-прежнему стояли, прислонившись к спинкам кроватей. Махнули рукой Полю, который уже терялся в толпе названных, наполовину исчез.

Потом вдруг назвали и нас – Жоржа, Жильбера и меня. Список подходил к концу. Мы тоже оказались в общей группе. И тут мне по-настоящему захотелось уехать отсюда.

Нас собрали на улице. Всего было человек шестьдесят. Уже совсем рассвело. Дневальные из блока напротив начали мыть полы. *Lagerschutz* (лагерные полицейские) и капо принялись снова в проходах. *Stubendienst*-бельгиец повел нас к вещевому складу. Через два часа мы вернулись в блок. Когда мы вошли, другие, те, что оставались, смотрели на нас во все глаза, и у них менялись лица. На нас были куртки и штаны с белыми и синими полосами, на груди красовался красный треугольник с буквой *F* посередине, на ногах были новые ботинки. Мы были чистыми, выбритыми и непринужденно перемещались по блоку. Те, кто в бухенвальдском маскараде заполучал островерхую шапочку, морской берет или русскую фуражку; те, кто в венгерском народном костюме и форменной фуражке варшавского трамвайного кондуктора возил в карьере камни на тележке; те, кто был одет в короткую куртку, которая едва прикрывала задницу, и носил на голове фуражку сутенера, – все они сразу перестали казаться гротескными персонажами, все они как будто преобразились.

Товарищи, которые не уезжали, посматривали на нас со смущением. Некоторые в этот момент могли даже нам позавидовать. Нам предстояло уехать, покинуть это нелепое, гнетущее поселение. Но большинство было сковано, как нам казалось, каким-то страхом; им было явно не по себе, будто они оказались перед теми, с кем только что произошла большая беда, но сами они пока ничего об этом не знают. Ясно было только одно: в Германии нам больше не увидаться.

Мы шагали по проходу блока. Матрацы, печка, «меблировка», о которой мы мечтали в Малом лагере, все это больше не имело для нас значения. Глядя на своих товарищей, столь нелепых, столь мешковатых в своих лагерных одеждах, мы не испытывали глубоких внутренних переживаний, это была просто неясная горечь. Завтра их снова будут собирать несколько раз на перекличку, а нас уже нет. Для них каждый день – карьер, труба, перекличка перед отправкой на работу, каждое утро – прожекторы Башни, направленные на тысячи серых голов: невозможно даже подумать, чтобы различить их по национальности или просто по выражению лица.

Весь Бухенвальд вмиг стал для нас пройденным этапом, как и наши товарищи. Они оставались. Нам было их почти жалко.

Мы знали, что нас не повезут ни в Дора, ни на соляные шахты. Кто-то даже сказал, что новое место будет неплохим. Отсюда легкая эйфория и это удовольствие, которому мы предавались, этакая полугрусть, которую мы испытывали перед остающимися.

Целый день мы бродили по блоку. Только под вечер *Blockältester* собрал нас. Нам выдали хлеба и по куску колбасы. Потом выстроили пятерками в проходе. Вокруг вертелись те, кто не уезжал. *Blockältester* разглядывал нас спокойно, при этом у него был такой вид, будто он думал о нас. Это был блондин (заключенные, которые провели в лагере долгое время, могли не бриться наголо), с утонченным лицом, ожесточившимся от кривой усмешки. У него была ампутирована часть стопы, поэтому он прихрамывал. Когда-то был нудистом и боксером. *Blockältester* был из политических, он не понимал и не говорил по-французски. Вот почему, когда ему случалось замечать, что мы смеемся, он всегда думал, что смеемся мы над ним. Нам стоило большого труда все время переубеждать его, он все равно следил за нами, и когда нас слышал, его глаза так и ощупывали нас. Он выглядел жестоким, но не был грубым, в его цинизме не было ни агрессивности, ни презрения. Казалось, этот человек всегда улыбается, и его улыбка была ответом, который якобы только он и знал, но хотел оставить за собой. Он улыбался так, будто разрушал чьи-то иллюзии. Он провел в Бухенвальде одиннадцать лет. Это был настоящий пер-

сонаж, один из ведущих актеров Бухенвальда. Декорациями служили Башня, труба, равнина реки Йена с маленькими немецкими домиками вдаль, наподобие того, что он сам покинул одиннадцать лет назад. А также эсэсовцы, всегда с самого начала эсэсовцы – одиннадцать лет один и тот же враг – одна и та же шапочка, которую нужно было снимать при виде зеленой пилотки с черепом и костями. *Blockältester* улыбался – проведя в рабстве вот уже одиннадцать лет, человек одного с ними языка, скупаемый самой непримиримой ненавистью, которая ни в чем не уступала нашей, улыбался. И улыбка эта была призвана развенчать иллюзию, которая была у нас всех, будто мы их знали, этих эсэсовцев. Он и его товарищи могли их знать, и у них были куда более глубокие, чем у нас, основания их ненавидеть. Когда заговаривали с ним о войне и пытались сказать, что надеемся вернуться во Францию и что сам он будет освобожден, он качал головой и смеялся с каким-то неуловимым и бесхитростным превосходством, словно мы были детьми. Вплоть до 1938 года он ждал этой войны, и захват Чехословакии после Мюнхенского сговора был уже лагерной войной. Он находился здесь с самого основания Бухенвальда, когда кругом был только лес, когда многие из нас еще ходили в школу. Мы только-только приехали в этот город, который заключенные построили собственными руками – вместе с трубой, приехали в этот город, отвоеванный ими у леса, который стоил им жизни десятков тысяч товарищей. Когда мы говорили: «Скоро нас освободят», он смеялся и отвечал: «Вас не освободят. Вы не понимаете, кто такой Гитлер. Даже если война скоро кончится, мы все равно здесь подохнем. Эсэсовцы разбомбят лагерь, сожгут его, нам не выйти отсюда живыми. Здесь погибли десятки тысяч наших, мы тоже все здесь умрем». Когда он говорил об этом, его обыкновенно тихий голос повышался, темп речи ускорялся, глаза становились неподвижными, но улыбка на губах оставалась; он говорил все это даже не нам, а как будто произносил надгробную речь самому себе, для себя одного. Он и помнить не мог о том, что мы называли освобождением. Нам хотелось сказать ему, что это возможно, даже вероятно, что то, чего они ждали одиннадцать лет, должно вот-вот произойти, но он не мог нам поверить. Он считал нас детьми.

Как-то раз наши пришли к нему и стали говорить об одном товарище, который был болен и которого назначили к отправке. Если он поедет, то по дороге наверняка умрет. *Blockältester* рассмеялся и ответил: «Вы что, не понимаете, зачем вы здесь?» А потом, делая упор на каждом слове, произнес: «Вам следует понимать, что вы здесь для того, чтобы умереть. Идите и скажите эсэсовцам, что ваш товарищ болен, сами увидите».

Товарищи думали, что идея смерти человека еще могла его взволновать. Но все выглядело так, словно ничего, что только могло произойти с человеком, не способно было пробудить в нем жалость или восхищение, отвращение или возмущение; как будто ничто человеческое по форме не способно было его взволновать. Это было хладнокровие лагерного человека. Но это хладнокровие, эта дисциплина, к которой он себя наверняка с трудом приучил, сыграли с ним злую шутку. Сопrotивление каждого имеет пределы, которые трудно определить. Но это напускное безразличие ко всему, очевидно, давалось ему с трудом. Он наверняка больше не испытывал то, о чем не стоило говорить и что, во всяком случае, не имело никакого смысла выражать.

Многим вспоминались слова одного капо, сказанные в самые первые дни: «Здесь нет больных и здоровых, здесь только живые и мертвые». Именно это хотел сказать начальник блока, это говорили и все остальные.

Начальник блока продолжал: «Надо, чтобы ваш товарищ поехал. Важен переезд, нельзя, чтобы только эсэсовцы занимались нашими делами, поскольку тогда вам откроется совсем другая картина». Он на минуту остановился, потом покачал головой и заметил: «Надо, чтобы он поехал».

После чего продолжил: «Вы не знаете эсэсовцев. Чтобы здесь выжить, нужна дисциплина, а вы недисциплинированы. Я могу все понять, но не понимаю одного: как можно быть недис-

циplinированным. Вы курите в блоке. Это запрещено. Запрещено потому, что если случится пожар, вас запрут внутри, и вы все сгорите. У вас не будет права выйти. Если же вы выскочите, вас перестреляют из пулеметов. Каждый из вас берет по два одеяла. Некоторые режут одно из них на носки, это правонарушение. А вдруг не будет угля для печки, у ваших же товарищей не будет одеял, и они замерзнут».

Вообще говорил он мало. Поговаривали, что «он не любит французов». До нас здесь были уголовники из Фор-Барро⁵. Они воровали хлеб. Начальник блока их поколачивал. Они хотели его убить. Товарищи тщетно пытались ему объяснить, что теперь здесь политические заключенные. Он ничему не верил. Однако время от времени он пытался объясниться; он говорил, что ему не нравится бить людей, но порой это необходимо. Товарищи его слушали, давали выговориться. Когда он слышал свои собственные слова не перед немцами, а перед другими, он незаметно привыкал к нам. Но мы-то, что мы могли понять? Мы еще не свыклись со смертью, во всяком случае здешней. Его же речь, его наваждения, даже его спокойствие были пропитаны смертью. Что до нас, то мы думали, будто есть выход, будто люди не умирают «просто так», будто можно было поднять вопрос о правах человека, а главное, что нельзя спокойно смотреть – «ничего не предпринимая», – как умирает товарищ.

Все его товарищи умерли. Он остался один.

Смерть была здесь вровень с жизнью, причем в каждый миг. Труба крематория дымила рядом с кухонной. До нашего появления в супе живых попадались кости мертвых, золотые зубы мертвых менялись на хлеб для живых. Смерть была чудовищным образом вовлечена в круговорот повседневной жизни.

Мы и в самом деле были детьми.

Мы держали в руках хлеб и колбасу. Никто не ел. На нас падал свет, но в блоке оставались участки темноты. *Blockältester* осматривал нас со всей серьезностью. Никакого цинизма на лице, улыбка пропала. Мы были новичками, но готовились к отправке. Когда-то он тоже уезжал, затем вернулся. Нам было суждено повторить его путь. Он не говорил, что, прибыв так поздно в Германию, мы ничего не знаем о лагерях, что мы всего лишь трусливые и счастливые французы, если сравнивать нас с теми, кто пережил другие периоды концентрационных лагерей. Разумеется, было много заключенных, отправленных «на транспорт», ему даже известно, что случилось с некоторыми из них. Это была всего лишь очередная отправка. Но все же на сей раз он оставался, а мы уезжали. *Blockältester* уже не презирал нас.

Нас подолгу пересчитывали. Наконец все приготовления были завершены. Те, кто оставался, держались в стороне от нас; казалось, они отдалились. Все очевиднее становилось различие между нами, но в то же время – все неодолимее желание поговорить друг с другом. Мы делали друг другу знаки несмотря ни на что. Те, кто прежде ругался, кричали друг другу: «Держитесь!» Те, кто ни разу друг с другом не заговаривал, торопливо спрашивали один у другого: «Откуда ты?»

Было уже слишком поздно. Слишком поздно, чтобы узнать друг друга. Надо было говорить раньше: эти незнакомые люди, узнававшие друг друга впопыхах, лишь проявляли неловкость. Говорить надо было раньше. Но все же это значило, что мы способны испытывать волнение; мы еще не были мертвыми. Напротив, казалось, что жизнь просыпалась от тяжкого лагерного сна. Мы еще были способны грустить, покидая своих товарищей, мы были еще здоровы, человечны. Это придавало уверенности. А мы нуждались в уверенности. Вот почему некоторые из нас предавались прощанию с таким дружеским участием.

Староста блока надел берет, натянул куртку с повязкой. Вид официальный, но не строгий. Он знал, что уже завтра мы забудем своих товарищей. Между двумя группами – отъезжающих

⁵ Старейшая крепость во Франции, расположенная между Шамбери и Греноблем, в первой половине XX в. преобразованная в тюрьму, в настоящее время – одна из туристических достопримечательностей региона.

и остающихся – он был как сознание Бухенвальда; его присутствие превращало эти мгновения в исполнение обычного ритуала, нечто привычное, повторяющееся. Он сам когда-то все это познал. Так что можно было здесь говорить друг другу «до свидания», у расстающихся друзей могли быть покрасневшие глаза. *Blockältester* же помнил времена, когда сам он был более воздержан. Все это казалось столь зыбким. Ему было известно, что в истории лагеря эти минуты пробегут, как и миллиарды других, что они растворятся в часах переключек и холода. Ему было известно, что если случится выбирать между жизнью какого-нибудь товарища и его собственной, то непременно выберут его жизнь и никто не даст пропасть хлебу умершего. Ему было известно, что можно смотреть, без единого движения, как забивают насмерть твоего товарища, и, наряду со жгучим желанием раздавить того, кто бьет, разбить ему морду, выбить зубы, чувствовать безмолвную, сокровенную, телесную *радость*: «Бьют-то не меня!»

– *Fertig!*⁶ – сказал староста блока.

В этот миг те, кто оставался и не имел права смешиваться с нами, яростно преодолели разделявшую нас черту. Они кричали, они твердили: «Уже скоро!», «Крепитесь!». Еще кричали друг другу адреса: «Запомни!» – и жали руки даже тем, кого лично не знали. Те, кто недолюбливал друг друга, наконец-то посмотрели друг другу в глаза. Каждый показывал свою лучшую сторону. Самые жесткие лица смягчились, как будто они оказались дома. Стало видно, насколько каждый способен быть человеческим. Мы уезжали, а они шли за нами, мы должны были того и гляди узнать друг друга, но мы уезжали. Если бы отъезд отменили, все вмиг стало бы как прежде, мы это понимали, и это было здорово: чья-то рука лежала у вас на плече, кто-то пытался вас задержать. Через миг мы должны были расстаться, и у всех было такое чувство, что мы лишались чего-то жизненно важного, будто у нас ампутировали какой-то орган. Времени не оставалось. Но было еще несколько секунд, за которые все это обернулось душевной мукой. Конечно же, это был порыв невозможной любви. Нашим товарищам хотелось удержать нас в жизни. Через миг все должно было кончиться, мы не только расставались навсегда, но и были обречены на забвение. Мы прекрасно это понимали, и они тоже. Но все вместе, мы и они, спрашивали себя, всегда ли у нас достанет сил желать удерживать другого в жизни. А вдруг в каком-нибудь затишье, когда нам ничто не будет угрожать, мы докатимся до того, что не будем больше этого желать или у нас не хватит сил этого желать? Вот тогда-то мы повзрослеем, станем настоящими лагерными волками, а то и начальником блока, пресловутым новым человеком.

Звездная ночь. Мы вышли из блока и поднялись на насыпь, что ведет к плацу, где проходит переключка и где мы сейчас стоим. На плацу сумрачно, он образует огромный прямоугольник. Кругом расположены карцеры и помещения эсэсовцев, в центре – Башня. На первом этаже, на площадке, часовой с пулеметом, направленным на плац. Прожекторы, что установлены по периметру площадки, не горят. Внизу Башни сводчатый коридор, через который проходили эки, когда шли на работу или на транспорт.

Нас присоединяют к другим заключенным в полосатых робах, которые поедут в том же эшелоне. Они, как и мы, построены в шеренги по пять человек. Большинство из них – французы, несколько бельгийцев, русских, поляков, есть и несколько немцев. Я, Жильбер, Поль и Жорж в одной шеренге.

Время от времени из громкоговорителя доносится голос. Голос степенный, звучный, почти меланхолический. Может, он обращен к кому-нибудь из наших? Говорит явно эсэовец. Так, он может вызывать старшего по блоку, капо, еще кого-то из начальников, но на самом деле обращен к заключенным. Мы часто слышали этот голос в громкоговорителе барака. Он раздавался по всему лагерю: «Вызываются все капо!» – с ударением на «а». Слово «капо» звучало чаще всего. Вначале в этом было нечто таинственное. Только этот голос и только это слово говорили за всю организацию. Этот спокойный, степенный голос всё держал в своей власти.

⁶ Готово! (нем.).

Вначале даже невозможно было отождествить этот голос и режим, установленный эсэсовцами. И тем не менее это было одно и то же. Машина была мастерски отлажена, и этот спокойный, безличный, твердый голос был голосом сознания службы СС, безраздельно царившей над лагерем.

Зажглись прожекторы. Некоторые направлены на нас, другие обшаривали плац. Эсэсовцы еще не подошли. Сопровождавший нас начальник блока держится поодаль, болтает с охранником. Несколько заключенных спокойно прохаживаются по плацу. Это тертые калачи, они знают, как передохнуть. Они вправе погулять вечером, после работы, и сознательно пользуются этим правом.

Впереди, за колючкой, за карьером, на равнине Йены видны слабые огни. Позади – труба крематория.

Ждали мы долго. Сейчас уже, наверное, одиннадцать. Начальник блока ушел, ничего нам не сказав; он просто осмотрел колонну и не дал никаких указаний. Завтра в его блоке вместо нас будут другие. С какой стати ему жать наши руки? Этот мир фабриковал своих слуг. И сам он, заклятый враг эсэсовцев, был одним из этих слуг. Мне даже в голову не приходило, что у него могло быть имя, я никогда не задавался вопросом: «А как его зовут?»

Когда все наши воспоминания были еще свежи, когда, оставив накануне родные дома, мы говорили себе: «Скоро нас отпустят», когда мы думали, что поменяли одежду ненадолго, *Blockältester* уже отмерил свои одиннадцать лет и хранил память об этих одиннадцати годах лагерной жизни. Он видел рождение службы СС, видел, как становятся эсэсовцами, он познал эту службу изнутри. Он сам на глазах эсэсовцев строил этот лагерь и наблюдал, как строили этот лагерь они.

Что до нас, то мы иностранцы, припозднившиеся сателлиты, выходцы народов, которые просыпаются и начинают действовать, когда битва уже давным-давно началась. Все мы лишь числа, номера, и он тоже не может себе представить, что у каждого из нас есть имя; мы – числа, но с нами никто не считается.

Однако же и нам, французам, прибывшим последними эшелонами в августе месяце, тоже предстояло понаблюдать за несколькими стадиями созидания лагерного мира. Например, на вторую ночь после прибытия нам пришлось стать свидетелями рождения капо.

Это были пять немцев, что громко смеялись, когда мы шли в колонне. Пять будущих капо. Они уже знают, что по прибытии в лагерь станут нашими начальниками. Их уже назначили начальниками в эшелоне. Они уже соблюдают дистанцию. Это уголовники. Немножко поодаль еще один немец: блондин с квадратной головой, плотный, сильный, с красивым шарфом на шее. Он сказал Жильберу, который знает немецкий, что был *Schreiber* (писарем). Он станет *Lagerältester* (надзиратель из заключенных). Политический.

Мы еще не знаем, как четко распределены все роли.

Теперь на плацу остались только мы. Товарищи спят в блоках. Те, из нашего барака, больше не думают о нас; вернее, думают, что мы уже далеко, а мы до сих пор на плацу. Для них, оставшихся в бараке, наш отъезд уже свершился. Мы же, в нескольких сотнях метров от них, представляем себе, как они, будто лунатики, продолжая спать на ходу, идут помочиться. А мы стоим себе в легком возбуждении. Теперь невинными младенцами выглядят они, те, что остались. Мы смотрим на них как на слепцов. А ночная жизнь Бухенвальда проходит без нас; мы держимся на самом краю, возле Башни. Ночью здесь имеют право находиться только отбывающие.

Прожектора высвечивают лица и полосатые фигуры. О нас, стало быть, не забыли. Помнят, что мы здесь. Лица у всех те же, что и по утрам, когда мы идем на работу. Холодает. Однообразие построенной колонны, перешептывание бельгийцев, поляков, французов; у каждого нашелся приятель, все в одной упряжке. Ты помнишь какого-нибудь парня, а теперь он будто ряженный, наголо выбрит, дурак дураком и жив-то только потому, что ряженный, которого

зависть берет, что коров и лошадей принимают за коров и лошадей; у него есть еще глаза, рот, а под гладким бритым черепом вертятся образы человека в пиджаке, проговариваются слова человека в пиджаке.

Зажегся проход под Башней. Идут эсэсовцы: двое в фуражках, остальные, охранники, в пилотках и с винтовками. Нас пересчитывают. *Lagerschutz* выкрикивает имена, всячески их коверкая. Мое тоже звучит – наряду с именами поляков и русских. Звучит смешно, а я отвечаю: «Здесь!» Имя резануло ухо, будто варваризм, но я его все равно узнал. Таким образом, хоть на мгновение меня обозначили напрямую, обращение было адресовано только мне, я оказался незаменимым, словно снова появился на свет. Нашелся кто-то, кто сказал «да» в ответ на этот невнятный шум, который представлял и мое имя, и меня самого. Надлежало сказать «да», только тогда можно было вернуться в ночь, к своему каменному безымянному лицу. Если бы я ничего не сказал, меня стали бы искать, никто никуда не уехал бы, пока меня не нашли бы. Всех стали бы заново пересчитывать, тогда бы выяснилось, что нашелся умник, который не сказал «да», не хотел быть собой. После чего меня бы вычислили, эсэсовцы разбили бы мне морду, заставив признать, что я – это я, снова вбив мне в черепушку эту логику – что «я» – это «я» и что именно «я» был этим ничтожеством, носившим произнесенное имя.

После переключки эсэсовцы снова нас пересчитывают, на этот раз вместе с *Lagerschutz*, после чего он уходит. Остаются только эсэсовцы. Они спокойны, не лаются. Идут вдоль колонны. Боги. Нет такой пуговицы на их шинелях, нет такого ногтя у них на пальцах, которые бы не сияли: СС обжигает. Мы сторонимся эсэсовца как чумы. К нему не подойти, на него не взглянуть. СС обжигает, ослепляет, обращает в пыль.

В Бухенвальде на переключках их ждали часами. Тысячи людей, едва стоящих на ногах. Потом вдруг слышалось: «Идут! Идут!». Они еще далеко. Теперь самое главное – обратиться в ничто, стать неотличимым от тысяч. «Идут!» Их еще не видно, но воздух словно опустошается, разрезается, как будто под действием невидимого насоса. Только тысячи заключенных, больше здесь ничего и никого нет, главное – никого, только квадраты тысяч. Вот и он. Мы его еще не видим. Является. Один. Неважно, какое у него лицо, неважно, кто он, важно только одно – это эсэсовец, во плоти. Глаза видят чье-то лицо. Человека. Бога с мордой сверхсрочника. Он проходит перед тысячами. Прошел. И пустыня – его больше нет. Мир снова заселяется людьми.

В пересыльном лагере нас останется всего несколько сотен. Эсэсовцы будут те же. Мы их запомним, научимся различать. Башни не будет. А эсэсовцы будут обречены жить вместе с нами, видеть все время одни и те рожи и даже вынуждены будут выискивать среди этих рож *подходящие*, которыми они могли бы воспользоваться.

– *Zu fünf!* (По пятеро.) *Fertig!* – кричит один из эсэсовцев тому, что в фуражке. Колонна сжимается, двигается с места, проходит под Башней.

Появилась луна. Колонна, храня молчание, продвигается по дороге, ведущей к лагерной станции. Предстоит пройти несколько сотен шагов. Охранники в пилотках идут по бокам, винтовки на плечах, дулом вниз, прикладом вверх. Позади колонны несколько товарищей толкают тележку с багажом эсэсовцев.

Состав уже подан: один пассажирский вагон и несколько скотовозных. На станции никого. Нас снова пересчитывают; эсэсовцы спокойны.

В нашем вагоне народу немного. Ложимся, прижавшись к стенкам; на полу сыро и грязно. Холодно, мы жмемся друг к другу. Дверь открыта настежь, через нее струится лунный свет, образуя огромный желтый прямоугольник. Немцы, которые будут нашими капо, тоже здесь. Сидят прямо на виду. Это заключенные, как и мы. Пока мы на них смотрим просто как на людей, которых видишь в первый раз. Ничего особенного. Никаких вопросов; они вполголоса говорят между собой; похоже, давно друг друга знают.

По обеим сторонам лунного прямоугольника видны груды теней, неясные пятна лиц, рук, ног, они то появляются, то исчезают. В глубине вагона крошечный мрак.

Поезд может простоять здесь сколько угодно. Такое впечатление, что мы не в вагоне, а в ящике, как будто нет никаких колес и нам ни за что не тронуться с места. Снаружи полная тишина, только поскрипывают сапоги прохаживающихся эсэсовцев. Свинцовая неподвижность.

До нас доносится пыхтение паровоза. Он выезжает из глубин леса и приближается. Легкое столкновение: вагон трясется; жизнь пошла своим ходом, колеса налились кровью. Шаги эсэсовцев звучат по-другому, мы уже не в ящике, эсэсовцы больше не командуют ящиком, теперь за командира паровоз. Если им захочется помочиться и они задержатся, а поезд тем временем тронется, они могут на него опоздать: дурацкий же вид будет у них, если поезд уедет, а они останутся, да еще и перед нами останутся в дураках.

Сейчас поедет по рельсам. Машинист не из СС. Очень может быть, что он не знает, кого везет, но поезд движется благодаря ему. Если бы он сошел с ума, если бы все начальники немецких вокзалов по пути следования сошли с ума, мы в своих полосатых робах, не выходя из вагонов, могли бы доехать до самой Швейцарии...

Но мы уезжаем из Бухенвальда и явно не куда придется. Стрелки будут переведены правильно, мы на верном пути, эсэсовцы могут спать спокойно, все пройдет хорошо. Рельсы, по которым скользят вагоны с теми, кто совершает свадебное путешествие, останутся ровными и на нашем пути; днем, по деревням, люди будут глазеть на поезд; даже если мы превратимся в крыс, даже если это будет состав с крысами, люди в деревнях будут спокойны; дома как стояли, так и будут стоять, кочегар как бросал уголь в топку паровоза, так и будет его бросать.

Все это чушь, даже самой необычайной мысли не сдвинуть с места камня. Я могу позвать тех людей, оттуда, из дома, могу стать пустым местом и поставить их на это место, заставить влезть в мою шкуру: они там спят себе спокойно, а я тут сижу на полу. Я не владею даже метром пространства, не могу выйти из вагона; если я чем-то и владею, то только пространством своих ног, которым пришлось бы, чтобы дойти до дома, пройти сотни километров. Те, оттуда, тоже, должно быть, чувствуют всю тяжесть своих домов и вполне могут быть во власти только одной этой идеи: даже самой неистовой мысли не сдвинуть с места камня. Если бы я умер и они узнали бы об этом, они не стали бы разглядывать карту и считать километры. Холмы, бурные реки перестали бы заграждать дом; перестали бы существовать адские расстояния, пространство умиротворилось бы, и они уже не были бы изгнанниками той части мира, где можно вздохнуть.

Свисток паровоза – какой-то жалкий, странный. Для кого он свистит? Но все же он приносит всем долю уверенности – это сигнал и для эсэсовцев, и для нас. Эсэсовцы слушаются свистка паровоза! Нам никогда не освободиться от этой детской причуды, заставляющей нас искать повсюду знаки одобрения или проклятия. Разумеется, им и в голову не придет, что мы и они слышим один и тот же свисток. Свисток паровоза – и они поднимаются в свой вагон. Вот уж не поверишь! Выходит, они господствуют только над нами: какой-нибудь камешек попадет под ногу, и эсэсовец может свалиться с ног... Если они опоздают на поезд, то между тем местом, где находятся их ноги, и тем местом, где находится поезд, быстро образуется почти то же самое пространство, что отделяет нас от наших домов. Они не господствуют над пространством: все, что происходит в башке эсэсовца, не может сдвинуть камня, не может сократить расстояния, разделяющего ноги эсэсовца и ушедший поезд...

В вагон забрался охранник. Длинноусый старик из судетских немцев. Ему просто прикололи на пилотку череп со скрещенными костями: это не настоящий эсэсовец. Он поставил скамейку возле двери, наполовину прикрыв ее, зажег свечу и пристроил ее прямо на скамейке, а винтовку поставил между ног.

Вагон трянуло и сразу прервалось жужжание разговоров. Старик-охранник закачался на скамейке. Поехали, застучали колеса, пол стал вибрировать. Это раскачивание захватывает руки, ноги, тела, согревает их. Если бы сейчас раздались привычные команды, то это отправление ничем не отличалось бы от обычной отправки на войну, в казармы. «Вот и конец», – говорит кто-то, как будто жизнь вот-вот возродится. И правда, нет ничего невыносимее, чем этот неподвижный вагон, он мрачнее могилы. Теперь эшелон набирает скорость и углубляется в лес, который тянется до самого Веймара. Вагон страшно трясет. Да пусть везут! Тело укачивается, понемногу расслабляется. Едем, возникает иллюзия, будто мы побеждаем пространство. Но когда приедем, оно останется непобежденным, это пространство, что отделяет нас от наших, – они где-то там. Все равно трясемся мы внутри Германии, расстояние сведено к нулю и это движение лишь напускает тумана на то, что вчера было бесповоротным и что завтра будет таким же. Трясутся не люди – трупы.

Покачивающийся вместе с поездом охранник курит толстую трубку, которая спускается ему на подбородок. Поезд пошел на спуск. Свеча время от времени гаснет, старик зажигает ее заново, оборачиваясь к нам, и посмеивается; кое-кто из наших тоже смеется. Будущие капо, у которых есть табак, просят у старика огонька, тот не скупится. Наверное, ему хочется казаться бравым солдатом. А на деле он один, стоит темная ночь, он уже стар, его только что мобилизовали, вытащили с собственной фермы; за пару дней эсэсовцем не станешь.

Будущие капо говорят на том же языке, что и он. Один из них, толстяк, – его зовут Эрнст – встает и подходит к двери. Та полуоткрыта, охранник ни слова. Толстяк высовывает голову наружу и вдыхает свежего воздуха, старик молчит. Другой поворачивается к охраннику и, втянув голову в плечи, говорит ему что-то по-немецки. Тот смеется в седые усы и поворачивается лицом к нам. Толстяк тоже смеется, он почти беззубый. Другие немцы не отстают и тоже смеются, охранник поворачивается прямо к ним и кивает, пряча улыбку в усах. Что там сказал этот толстяк? Должно быть, старику было слегка не по себе; теперь же он больше не один и не так одинок. Больше в вагоне никто не смеялся, смеялись только немцы: язык как бы очертил круг опасности. Толстяк так и стоит рядом с охранником, что-то ему говорит, тот изредка ему отвечает. Но это не разговор. Толстяк хотел бы поговорить, но старик не знает точно, можно ли ему с ним разговаривать. Его успокаивает язык, но мы-то здесь, перед ним. Остальные немцы явно прислушиваются, потому что толстяк пытается разъяснить старику вагонную иерархию: самый главный он, охранник, потом идут они, немцы, будущие капо, и в конце мы.

Едем уже довольно долго. Всё путем. Немцы все больше сплачиваются: уже трое стоят вокруг охранника. Поднимается один из наших, у него сигарета. Он подходит к группе стоящих и просит прикурить у толстяка, хлопнув его по плечу прямо на глазах охранника. Толстяку неудобно отказать, но при этом он меняется на глазах: вид у него донельзя холодный, как нельзя более презрительный.

Охранник сидит на скамье, опустив голову; он слушает немцев, изредка поднимая на них глаза. Когда ему случается улыбнуться, он старается на них не смотреть, словно хочет умалить значимость этой улыбки. Винтовка так и стоит между ног, он держит ее за ствол. Эти трое не отстают, что-то беспрестанно наговаривая ему.

Вдруг в другом конце вагона запел какой-то француз, его не видно. Голос у него приторный, отвратительный. Поет о какой-то тетке, болеющей неизлечимой болезнью. Мы прислушиваемся. В конце тетка отдает богу душу.

Вагону все равно что везти – нас, прижавшихся к тонким стенкам, немецкий островок во главе с охранником, этого певца. И тех, кто не думал петь. Казалось, что, когда звучала песня, спина у старика как-то распрямилась, стала шире: стена. Тут еще кто-то запекает. Снова француз. Трое будущих капо, окружающих ненастоящего эсэсовца, оборачиваются и начинают орать; орут они, потому что товарищ поет по-французски.

– Пошли к черту! – кричит он, прекратив петь. Ведь они еще не капо. Он снова затягивает песню. Когда эти трое кричали, старик замешкался, они словно напомнили ему о том, что порядок нарушен. Несколько секунд он оставался в замешательстве: «А им разрешено петь?» Потом повернулся к двери: нет, никто не проскочит, посмотрел на немцев и поправил винтовку, которая немного сползла.

Через дверь и щели в стенках в вагон проникает ледяной воздух. Я забился между Полем и Жильбером, они дремлют. И все тот же вязкий свет, что идет от двери: при этом непонятно, то ли это луна, то ли занимающийся рассвет. Свеча почти догорела; немцы вернулись на свое место. Весь вагон спит. Голова охранника то и дело падает на ствол. Он быстро ее поднимает, оглядывает нас, затем осматривает дверной проем. Проем все тот же. Все на месте.

Чуть позже эшелон останавливается. На смену старику приходит другой охранник, он помоложе, но это тоже не настоящий эсэсовец.

Рассветает, и на стенках вагона появляются збровидные полосы: видно, что сами стенки из тонких серо-сине-фиолетовых досок. В вагон просачивается утренний туман: светлые полосы выхватывают из полутьмы вагона тела, руки, поджатые ноги; лучи света доходят до самых пяток, до башмаков с деревянной подошвой и картонным верхом желтого цвета с черными полосками. Башмаки совсем новые, выдали перед отправкой. Прямо сияют. Полоски тоже блестят, подошвы еще не стоптаны; гладкие черепа тоже поблескивают, только вчера выбрили; груз в вагоне свежий, каждый из нас настоящий, законченный *Hafling* (заключенный), готов к употреблению. На одежде пока нет грязи, нет и синяков на теле: нас не били с момента выдачи новой формы. Начинается новый период плена.

В эту ночь только свеча освещала неподвижный профиль охранника. Рядом со мной спали Жильбер и Поль. Глаза у меня были открыты, кто-то тоже, наверное, лежал с открытыми глазами и неотрывно следил за желтоватым светом свечи и длинными усами охранника. Пламя свечи и обвислые усы, и все время этот кусочек света, в котором купался только старик, право на который имел только он, словно охранял он самого себя. И никакого шума, кроме поскрипывания вагона, укачивавшего наши оцепеневшие тела. Это покачивание и это оцепенение возвращали телу на время полузабытую чувствительность. Посреди спящих тот, кто лежал с открытыми глазами, был предан одиночеству, то есть тем, кто оставался там, на воле. Стоило провести рукой по ногам, и можно было ощутить общность со своими близкими, а также почувствовать, что у тебя есть тело, которым ты можешь располагать: благодаря телу можно было чувствовать себя чем-то цельным. Благодаря телу казалось, что в полуоцепенении вагона ты снова можешь располагать собой, осуществить частицу своей индивидуальной судьбы. Уставившись в пламя свечи, ты слышал, как в голове снова складывается прежний язык; временами даже чудилось, что ты снова со своими и живешь с ними в той животворной близости, что невыносима для тех, кого невозможно было представить себе здесь, в этом вагоне. Ты прорывался сквозь серо-фиолетовые решетки и снова становился тем, кто там, на воле, был где-то признан, куда-то допущен. Мы были уже далеко, тело оцепенело, глаза уставали смотреть на это пламя, которое время от времени начинало колебаться: тогда глаза сами собой возвращались к нему и загорались его чистотой. Безумие? Лучше было постараться заснуть. Это и в самом деле безумие – оставить товарищей, выкинуть из своих мыслей эсэсовцев. Теперь стало казаться, что полоски света нарисованы на коже, выбритая голова покалывала ладонь, и снова в глазах маячила фигура охранника; возможно, он был женат, жена была в чести у эсэсовцев, как и их дом; они разделяли все болезни и горести, ее смерть была бы для них настоящей бедой.

Эшелон шел уже целый день. Мы поели хлеба, полученного вчера в бараке. Все повставали со своих мест, толпились у дверного проема, смотрели на проплывавшие мимо картины: землю, поля, среди которых видны были маленькие согнутые люди. Пейзаж прикидывался невинным, как дети на деревенских улицах, небольшая лампа, висевшая над столом в доме, фигура дежурного по переезду, фасады домов и это сокровенное умиротворение, которое

так удивляло в Германии; даже эсэсовцы, гулявшие по дороге, хотели казаться невинными. Повсюду была незримая маскировка, ключ к которой был только у нас, только мы осознавали ее в полной мере. К вечеру снова сменились охранники, к нам вернулся прежний старикан. Будущие капо продолжали болтать и смеяться. Хотелось понять, куда нас везут. Явно на север, к Ганноверу. Потом наступил вечер, и мы снова улеглись на полу вагона.

Подъезжаем. В голове снова встает картина Бухенвальда: Йенская равнина и против нее огромный провал карьера, в глубине которого согбенные крохотные существа с огромными камнями на плечах; парадная показуха отправки на работу: на плацу, ранним утром, еще до восхода солнца; под лучами прожекторов и под звуки цирковых маршей стоят двадцать тысяч человек; джазовые репетиции у сортиров; эти огромные сортиры, где случалось провести целую ночь; бульвар Инвалидов, по которому в четыре часа утра в густом тумане скачут одноногие, и слепые, и старики, и помешанные; наваждение двухнедельной смены в карьере, в полном дерьме; печь крематория на рассвете, мимо которой как-то странно быстро пробегают облака. А вокруг – колючая проволока, обжигающая граница, к которой и близко никто не подходит; задолго до нашего прибытия, на глазах невозмутимого эсэсовца, за нее еще хватались человеческие руки: тот спокойно дожидался на своей сторожевой вышке, пока они отцеплялись сами собой.

Мы пробыли в Бухенвальде три месяца, и за это время многие умерли, особенно старики: двое заключенных выносили из бараков завернутые в одеяла тела. Они шли и кричали: «Осторожно!» Все как один уступали дорогу, носильщики несли свой груз в морг. Иногда мертвых провожали товарищи. Они доходили до морга, находившегося за сортиром; одно окно выходило прямо на широкую дорожку, которая вела туда. Они что-то хотели разглядеть через стекло, приставляли ладони к лицу, чтобы не отсвечивало, но все равно ничего не было видно. Так расставались друг с другом давние друзья, сын с отцом, брат с братом. Иногда провожающие принимались бродить вокруг морга, дверь была на запоре, а через окно все равно ничего не было видно.

Вспоминается первая увиденная мной смерть. Мы несколько часов стояли на перекличке. Начинало темнеть. На холме Малого лагеря, в нескольких метрах от первых шеренг, стояли четыре палатки. Больные лежали в той, что была прямо против нас. Тут поднялся полог, и двое заключенных вынесли завернутое в одеяло тело, которое положили прямо на землю. Из-под простыни что-то вдруг выглянуло. Обтянутые черно-серой кожей кости: лицо. Из-под рубашки выступали две фиолетовые палки: ноги. Человек молчал. И тут из одеяла показались руки: сопровождавшие взяли его за них и поставили на ноги. Человек повернулся к нам спиной, нагнулся, и между двумя костями показалась огромная черная дыра. У него был понос, жидкое дерьмо струйкой полилось в нашу сторону. Тысячи людей, что стояли на плацу, видели эту дыру и это дерьмо. Он же ничего не видел – ни товарищей, ни капо, которые за нами присматривали и которые заорали: «*Scheisse*» – и бросились к нему, но и пальцем к нему не притронулись. А потом он упал.

Мы даже не поняли, когда эти двое вышли из палатки, что в одеяле кто-то был. Мы просто ждали эсэсовцев. Обычная перекличка. Мы стояли и дремали. Этому не было конца, обычная перекличка. А тут эта струйка дерьма, которую запустил товарищ в наш полусон. Тысячи людей такого еще не видывали.

А товарищ лежал на одеяле. Не шевелился. Круглые глаза были открыты. На холме он был один. Тысячи людей смотрели, не идут ли эсэсовцы, порой переводя на него глаза. Вернулись те, что вытащили беднягу из палатки. Наклонились над ним, засомневавшись, жив ли. Один из них потянул лежащего за рукав, тот не пошевелился. Кожи они не касались, побаивались. Никак не могли понять, мертвый он или живой. Может, снова поднимется и обосрет всё вокруг. Только по дерьму можно было понять, что он еще жив; а еще эти капо, ведь они на него кричали, значит, он был жив, кто-кто, а капо сразу вычисляли мертвых.

Тем временем товарищ, не шевелясь, лежал на одеяле. Носильщики стояли рядом, неподвижно, смотрели на него.

Тут подошел один из капо. Исполин, все лицо выглядело как огромная нижняя челюсть. Он тронул лежащего ногой. Никакого движения. Подождал с минуту. Потом нагнулся над черным лицом. Носильщики тоже нагнулись. Тысячи людей смотрели на трех типов, нагнувшихся над одеялом. Тут капо выпрямился и сказал: «Tod»⁷. Он махнул, и носильщики подняли одеяло, которое почти касалось земли. Снова занесли его в палатку.

Этих парадов, этих декораций отныне больше не будет. Мы уже сформированы. Каждый из нас, где бы ему ни случилось оказаться, отныне будет видоизменять повседневность. Без крематориев, без музыки, прожекторов – с нас будет достаточно.

Прибываем в Гандерсхайм, на ветку, которая обслуживает какой-то завод. Выпрыгиваем из вагонов, кругом темная ночь. Орут охранники; мы молчим. Слышен только шум башмаков. Входим в заводской склад, зажигается свет, осматриваем друг друга. Нас человек двести. Охранники подталкивают нас вперед, сбивают в колонну.

Подходят два эсэсовца в фуражках, унтер-офицеры. Один из них молодой, высокий, лицо скорее дряблое, бледное. Второй пониже, лет сорока, лицо красноватое, вытянутое, замкнутое. Сначала они нас осматривают; окидывают взглядом от головы до хвоста колонны. Мы стоим, пусть смотрят. Потом они начинают шагать по складу, стараются держаться непринужденно. Тот, что поменьше, останавливается и приказывает одному из охранников нас пересчитать. Тот считает. Пусть считает. Нет человека безразличнее, нежели тот, кого пересчитывают. Будущие капо стоят немного в стороне. Их тоже пересчитывают, но они при этом болтают, посмеиваются и посматривают в сторону эсэсовцев. Словно хотят показать, будто прекрасно понимают, что, хотя их тоже пересчитывают, операция эта затрагивает их разве что наполовину.

Беглецов не оказалось. Молодой эсэсовец доволен, улыбается и удовлетворенно кивает головой, снова осматривая колонну. Ему на нас наплевать. Он улыбается так, будто ему известно, что все мы хотели сбежать, но наши намерения не осуществились. Он замер – ноги расставлены широко, икры напряжены. Однако ему как будто мало такой демонстрации своего могущества. Для полного удовлетворения нужна какая-то реакция с нашей стороны; нужно, например, чтобы кто-то сказал: «Да, ты сильнее нас, мы говорим это тебе, потому что ты заслуживаешь того, чтобы тебе было сказано, что ты сильнее. Нам вообще не случалось видеть такого силача, как ты. Сами мы тоже когда-то считали себя сильными, но теперь мы точно знаем, что ты всегда был сильнее нас; разумеется, мы не двинемся с места. Чтобы ты ни сделал, нам даже в голову не придет померяться с тобой силами».

Другой эсэсовец прогуливается. Будущие капо смотрят на эсэсовцев. Ловят их взгляды. Держат наготове улыбочку: а вдруг эсэсовцы посмотрят в их сторону. Теперь они даже говорят громче. Мы наблюдаем за этой бешеной гимнастикой глаз, за этой готовой к атаке мимикой, этим сверхизобильным и сверхнастойчивым использованием немецкого языка – немецкий здесь выступает языком всеобщего блага, своего рода латынью – ведь эсэсовцы тоже говорят на немецком. Но все же пока они почти как мы. Эсэсовцы в нескольких шагах. Будущие капо как бы в стороне, но все же пока в группе заключенных, все же пока не с краю. Им еще предстоит сделать эти несколько шагов.

Один из будущих капо громко шутит, все смеются и напряженно смотрят в сторону молодого эсэсовца, ждут его реакции. На его лице появляется подобие улыбки. Получилось. Один капо уже готов.

Собираемся выходить из склада: охранник снова нас пересчитывает. Кто-то стоит не на своем месте. Краснорожий эсэсовец кричит. Подлетает один из будущих капо и, грубо толкая, ставит заключенного на надлежащее место. Но заключенный пытается защищаться. Будущий

⁷ «Мертвый» (нем.).

капо смотрит на невысокого унтер-офицера. Остальные будущие капо замерли в ожидании; ситуация решающая. Унтер громко кричит на заключенного. Теперь капо будущий становится настоящим.

Мы всё еще в складе. Тот эсэсовец, что пониже, встал поодаль. Окинул взглядом колонну с головы до хвоста, приказывает молчать. Начинает говорить сам. Голос у него глухой, отрывистый. Почти никто его не понимает. Но эсэсовец старается, используя интонацию, усердно отделяет одну фразу от другой, будто мы понимаем. Раз он говорит, его обязаны понимать.

Когда он замолкает, Жильбер переводит: «Эсэсовец сказал, что мы прибыли сюда на работы. Требуется дисциплины. Если будет дисциплина и мы будем работать как следует, нас не тронут и даже будут давать пива. Лучшие будут премированы». Жильбер улыбается.

«Сейчас будет суп». Люсьен, поляк, который до войны жил во Франции, переводит на русский.

Эсэсовец доволен. Он замолчал, чтобы кто-нибудь из наших заговорил на родном языке. Он разрешил одному из наших говорить в полный голос, ничего не понял, он был *вне игры* и был с этим согласен.

А мы слушали как телята. Нам было все равно, что слушать, что запоминать. Главное – суп. Из-за него и шептались.

– *Ruhe!* (Тишина!) – прокричал высокий эсэсовец, который до сих пор не вмешивался.

Нас вывели из склада и повели в рабочую столовую. Это низкий и вытянутый зал с побеленными стенами и двумя рядами столов, разделенных узким проходом. Одна дверь ведет на кухню, в ней есть окошечко. Через него видна женщина, она палкой размешивает суп в огромной кастрюле. Капо начинают суетиться. Заходят на кухню. Там, где еда, они сразу берут власть в свои руки. Сами сожрут по несколько мисок. Начинают раздачу перед окошком. Эсэсовцы наблюдают.

В столовой стоит гул. Большинство заключенных сидят за столами на скамьях.

Суп горячий: вода с кусочками моркови и брюквы. Кто-то просит добавки, но добавки нет. Через окошечко видно, как обжираются капо.

Добавки нет, зато есть свет; сидим кто на скамье, кто прямо на полу: передышка. Немного согрелись – от горячего супа. Надо внимательно отнестись к этому моменту покоя, важно его не испортить. Надо сесть и неважно где, просто удобно устроиться, пусть на какое-то мгновение. Русские непобедимы в этом искусстве.

В глубине зала стоит, прислонившись к стене, *Werkschutz* (заводской надзиратель), в темно-серой униформе и фуражке того же цвета; он держит винтовку за ствол, уперев ее прикладом в половицы. Вид у него замкнутый. Он не эсэсовец и не гестаповец, но все равно из какой-то полицейской службы. Человек с винтовкой, и винтовка эта явно для нас. Но винтовка не всегда бывает грозной. На плече нашего старого судетца, например, она висела как палка, а двое эсэсовцев в фуражках были без винтовок.

Кое-кто из наших подходит к надзирателю. Хочется понять, где мы в точности находимся, что это за команда. Сначала он не отвечает; посматривает в сторону двух эсэсовцев, что стоят в другом конце зала. Потом начинает говорить, почти не разжимая губ и не двигая головой, смотрит прямо перед собой. Находимся мы рядом с Бад-Гандерсхаймом, между Ганновером и Касселем. О самом лагере он ничего не знает, он новый. В 1918 году был во Франции в плену. Было невесело. Все понимает. Винтовку он держит крепко. На разговор подходит еще кое-кто из наших, вокруг него собирается небольшая группа. Он нервничает, поглядывает в сторону эсэсовцев. Перестает отвечать.

– *Antreten!*⁸ – кричит один из эсэсовцев. Строимся в колонну у выхода из столовой. На этот раз нас пересчитывают капо.

⁸ Строиться! (нем.).

На улице очень темно и не так холодно, как в Бухенвальде. Небо не столь подвижное. Виднеются какие-то неподвижные массы, подъемные краны, небольшие бараки. Спать будем не здесь. По узкой поднимающейся вверх дороге выходим на ровную площадку, на которой стоит старинный собор, превращенный в склад. Здесь мы будем спать – неделю, говорит молодой эсэсовец, а на самом деле три месяца.

Внутри собор поделен надвое. С одной стороны по всей длине тянется длинный проход; земляной пол, без плит. С другой все завалено соломой.

Мы забираемся на солому. Соломы много. Она свежая, чистая, желтая. Мы проделываем в ней руками глубокие ниши, на дне все равно остается солома. Такое вот изобилие. Молодой эсэсовец молча смотрит, как мы копошимся в соломе. Ясно, что он сейчас заговорит, поскольку слишком много для нас соломы, поскольку слишком веселятся наши, разгребая ее, поскольку слишком она мягкая и неисчерпаемая, поскольку тот, кто зарылся в солому с головой, может почувствовать себя королем и по-королевски взглянуть на эсэсовца. Поскольку эсэсовца обманули. Не мы, а положение вещей. Поскольку не было предусмотрено, что мы вот так будем валяться на соломе, что будем так довольны, что крестьяне, разгребая солому, будут чувствовать себя как дома. Развалившись на этой соломе, мы будем слишком хорошо спать.

Эсэсовец смотрит на солому; ее и правда много, она могла пойти для немецких коров с немецкой фермы, которые дают молоко немецким детям; превосходная немецкая сеть. Эту солому мы заразили чумой, да еще смеемся как сумасшедшие.

Эсэсовец вышел. Внутри собор освещен несколькими лампочками. Укладываюсь спать. Рядом со мной уже храпит один испанец. Жмемся друг к другу. Не шевелимся. Наваливается оцепенение; тело, уложенное в сделанную в соломе нишу, становится одиноким. Ничто не рвет душу; ни дом, ни тамошняя улица, ни завтра – ты один на один с холодом. Хорошо ли здесь? Здесь тоже может быть свой покой, но нужно усилие, чтобы проверить, на самом ли деле тебе здесь хорошо, именно здесь, а не где-то там. Тут действует тот же принцип идентичности, который вчера хотел установить эсэсовец, требуя от меня сказать «да» в ответ на мое имя, я буду пытаться им руководствоваться, чтобы быть уверенным, что здесь нахожусь именно я. Однако эта очевидность будет убегать, как это происходит сейчас. Просто солома, шурша, берedit рану на ноге, которая в свою очередь пробуждает в голове воспоминание о той улице, пробуждает воспоминание о Д., она возвращается с работы, размахивая руками, покой исчезает, и я начинаю верить, что здесь нахожусь именно я.

Теперь нужно поспать. У нас есть право на сон. Эсэсовцы не против, то есть на несколько часов они соглашаются не быть нашими эсэсовцами. Если им угодно, чтобы завтра под рукой оказался пригодный материал, значит надо, чтобы мы поспали. Они не могут уклониться от этой необходимости. Что до нас, то надо, чтобы мы поднабрались сил. То есть *надо* поспать: не стоит терять время. Мы даже торопимся уснуть. Сон не означает передышку, сон не означает, что мы, проработав целый день, расквитались с эсэсовцами, исполняя это задание, которое называется сон, мы просто готовим себя к тому, чтобы стать более совершенными заключенными.

Эсэсовцы также не против, чтобы мы мочились и испражнялись. Для этого есть специальное место, которое называется *Abort*⁹. Когда мы мочимся, это не шокирует эсэсовцев; по крайней мере, не так, когда мы просто стоим и смотрим прямо перед собой, размахивая руками. Эсэсовец склоняется перед видимой независимостью, принимает вольное распоряжение своими возможностями человека, который мочится: должно быть, он полагает, что сам акт отправления этой потребности является для заключенного рабской обязанностью, исполнение которой призвано сделать заключенного еще более примерным, научить его лучше работать и, таким образом, сделать его более зависимым от главной задачи; эсэсовцу невдомек, что

⁹ Сортир (нем.).

когда заключенный мочится, он свободен. Вот почему порой мы просто расстегиваем ширинку и встаем против стены, делая вид, что мочимся; эсэсовец проходит мимо, как кучер мимо лошади.

Должно быть, я проспал несколько часов. Вот уже некоторое время до меня доносятся какие-то равномерные звуки. Они становятся все отчетливее. *Auf, ab! Auf, ab!*¹⁰ Сильный, зычный голос – как у учителя физкультуры. Он доносится снизу, из прохода. Какое-то время голос остается безответным. Физкультура так физкультура. Зажигается свет. У испанца, лежащего рядом со мной, открыты глаза. Кое-кто из наших начинает поднимать головы, люди прислушиваются, глядят друг на друга, не произнося ни слова. Кое-кто почти сдерживает дыхание. Дверь собора закрыта. Должно быть, еще темно.

Бац! Затрещина; да, это затрещина. Народ сразу просыпается. Бьют.

– *Auf, ab! Auf, ab!*

Голос звучит громче, злее. Затрещина осталась безответной, никаких жалоб.

Я тихо выползаю из своей дыры, пытаюсь всмотреться в проход через щели в досках, которые удерживают солому. Молодой эсэсовец стоит, прислонившись к стене, руки засунуты в карманы, ноги широко расставлены. Это он кричит командирским голосом. Перед ним стоят трое полуодетых заключенных, руки на поясе, они встают и приседают по команде эсэсовца.

Один, у которого уже покраснело лицо, останавливается. Удар в лицо. Он поднимается, проделывает два раза упражнение, снова останавливается. Удар сапогом по колену. Эсэсовец смеется, просто замахивается. Рот полуоткрыт, глаза налились, он будто пьяный. У стоящих перед ним товарищей растерянный вид, они не понимают, чего от них хотят.

Один из наших бегом возвращается из туалета и ныряет возле нас в солому.

– Напился! – говорит он вполголоса. – Уже полчаса измывается. Поймал троих, те просто ходили пописать. Меня не заметил.

В этот момент встает один из заключенных, ему просто невтерпех, он не понял, что происходит. Бежит к туалету.

– *Du, du, komme hier, komme, komme!* – кричит эсэсовец и показывает ему на стоящих перед ним ээков.

– *Los!*¹¹

И бедолага начинает приседать. Я смотрю на испанца, который тоже выполз из своей норы и прижался лицом к доске. Нас одолевает нервический смех; когда не понимаешь, что происходит, можно рассмеяться (помню, мы смеялись в тот день, когда только приехали в Бухенвальд; нас переодели, и мы не узнавали друг друга). Эсэсовцам уже удавалось нас рассмешить. Мы все могли смеяться – какое-то сумасшествие, безумная игра, как тут не смеяться. Не надо ничего понимать, оно того не стоит, это игра – без конца, без причины, без конца и без причины.

Товарищи внизу ошеломлены. «Что еще за физкультура? За что бьют? Чего мы такого сделали?» На их лицах это прямо написано: «За что?» Эсэсовца это возбуждает. Он бьет. Двое падают. Лежат неподвижно. Он бьет их ногами. Они встают и снова приседают, они растеряны и совершенно выбились из сил. Мы сидим за своими досками, на соломе, в укрытии.

Время от времени эсэсовец хохочет, указывая на одного из товарищей пальцем. Тот тоже смеется, чтобы эсэсовец поверил, будто он думает, что это игра, но можно было бы и остановиться. Тогда эсэсовец подходит поближе и бьет его по лицу. Товарищ продолжает приседать, продолжает играть, не зная, когда этому придет конец.

– *Auf, ab! Auf, ab!* – продолжает эсэсовец.

Наконец, эсэсовец остановился, устал. Товарищи стоят перед ним. Он подходит поближе и пристально на них смотрит. У него нет желания что-нибудь с ними сделать, он просто при-

¹⁰ Встать, сесть! (нем.).

¹¹ Ты, ты, иди сюда, иди, иди! Давай! (нем.).

стально на них смотрит, ему не удастся пробудить в себе какое-то другое желание. Разошелся на какое-то время, а теперь как будто впервые видит; они запыхались, но как стояли, так и стоят. Ему не удалось их уничтожить. Чтобы они не разглядывали его, как сейчас, надо вытащить револьвер и их перестрелять. Он продолжает их разглядывать. Они стоят неподвижно. Тишина, это он ее добился. Эсэсовец кивает. Он здесь сильнее всех, но эти как стояли, так и стоят; надо, чтобы они здесь стояли, тогда он будет чувствовать, что он здесь самый сильный; замкнутый круг.

– *Weg!*¹² – бросает он отрывисто прямо им в лицо. Наши убегают. А эсэсовец как стоял, так и стоит, будто эта четверка еще перед ним. Затем резко разворачивается и уходит, раздавая пинки в пустоту.

Мы смотрим на него сквозь щели. Он один в проходе. Ничего не слышит. Вдруг резко разворачивается и смотрит на лампочку. Теперь у всех открыты глаза. От соломы веет тишиной и напряженным вниманием. Оно давит на него, он не в силах его победить.

Эсэсовец делает несколько шагов к двери. Мы *сопровождаем* его. В дальнем углу уже вздохнули с облегчением. Но еще не слышно шума двери. Эсэсовец останавливается, мы видим его затылок, спину. Затаенный гул нарастает, заполняет собор, толкает эсэсовца к двери, он выходит, его больше нет.

Вот уже несколько дней, как мы здесь. На следующий день после прибытия нас построили перед собором, пришли гражданские, стали отбирать тех, кто мог работать на заводе. Из-под полосатой робы появлялся вдруг токарь, чертежник, электрик и т. п.

Произведя отбор специалистов, гражданские стали отбирать тех, кто мог выполнять на заводе тяжелые работы. Они шли вдоль строя, осматривая наши руки, плечи, головы тоже. Рук им было мало, надо было иметь голову на плечах и, возможно, взгляд, достойный плеч. Немцы останавливались перед каждым из оставшихся заключенных. Пусть смотрят! Если кто-то подходил, немец говорил: «Комме!» Зэк выходил из строя и присоединялся к группе специалистов. Время от времени немец останавливался перед кем-нибудь и тыкал пальцем, поворачиваясь со смехом к сопровождавшим его гражданским. Товарищ стоял не шевелясь. Он вызывал смех, но для работы на заводе не подходил.

Эсэсовцы держались в стороне. Они привезли груз, им дела не было до отбора, отбирали гражданские. Когда кто-нибудь из заключенных откликнулся на название профессии – *токарь*, гражданский одобрительно кивал головой и поворачивался к эсэсовцу, показывая на зэка пальцем. Эсэсовцы не сразу понимали гражданских; они привезли груз, им даже в голову не приходило, что в нем мог оказаться токарь. Эсэсовцы внимательно смотрели на гражданских – без особого восхищения, но так, как смотрят на компетентного человека; надо же, он обнаружил в этом дерьме человека, способного сделать своими руками что-то полезное для Германии, он будет выполнять на заводе ту же самую работу, которую выполнял прежде немецкий рабочий. Когда токарь выходил из шеренги, эсэсовец весь обращался во внимание и провожал токаря глазами; он верил тому, что говорил гражданский; в этот момент он, наверное, не осмелился бы ударить заключенного, обретавшего таинственное могущество, которое он, эсэсовец, не смог в нем распознать, а другой немец заметил.

Отобранные для работы на заводе были отделены от остальных. Они поступили в распоряжение гражданских и капо, которые записывали их имена. Эсэсовцы отошли от них и вернулись к нам, к тем, кто остался и не умел ничего делать. Освободившись от гражданских, которые провели ценностный отбор, эсэсовцы могли с чистой совестью вернуться к нам – настоящим заключенным, в отношении которых все было без обмана. Крестьяне, служащие, студенты, официанты и т. п. Мы ничего не умели делать; нам предстояло работать, но не на

¹² Прочь! (нем.).

заводе, а на улице, работать как лошади: мы должны были возить на тележках бревна, панели, а также строить бараки, в которых позже разместится партия.

Отбор имел большое значение. Те, кому предстояло работать на заводе, окажутся отчасти защищенными от холода и дождя. Для *Zaun-Kommando* (строительной команды) заключение будет совершенно другим. Вот почему те, кто работал на улице, все время мечтали попасть на завод.

Первые дни октября. Еще не рассвело. Заводские уже ушли. Спустя полчаса *Zaun-Kommando* покидает собор и спускается по дороге, ведущей к Гандерсхайму. Мы проходим мимо завода: квадратное здание с плоской крышей стоит во впадине в окружении невысоких холмов. Завод освещен и светится в темноте.

Железнодорожная ветка, по которой мы сюда прибыли, возвышается над полем, что простирается от завода вплоть до лесистого холма, куда через туннель уходят рельсы. На этом поле мы и строим бараки. Насыпь завалена щитами и балками, среди них нужно отбирать подходящие. На поле уже громоздятся несколько больших куч.

Мы сошли с гандерсхеймской дороги и вышли в поле. Нас человек пятьдесят, по большей части французы. Есть, правда, еще три русских великана и несколько испанцев. Все окоченели. Земля сырая и вязкая. Мы залезаем под наваленные доски.

Жмемся друг к другу; сыро, темно. Сзади, на фоне светлеющего неба, неподвижной черной тенью возвышается холм. С завода доносится шум компрессора: начали. Стоим, молчим, втянув головы в плечи и засунув руки в карманы. Сейчас, наверное, часов шесть. Дожить бы до полудня. Работать никто не начинает. Да и как тут начнешь? Как проделать эти элементарные движения: подойти и поднять балку, положить ее на плечо и двинуться. Они настолько привычны, что их можно было бы сделать с закрытыми глазами, но ведь нужно вынуть руки из карманов, пройти немного вперед, наклониться. На это нет сил.

Не так уж мы и ослабели; но нужно стряхнуть с себя сон, собраться, подойти к назначенному месту; нужно вынуть руки из карманов и укладывать бревна на тележки, а после обеда возвращаться, бороться с голодом после жидкого супа и ждать, пока не станет темно, пока не наступит ночь, когда положено спать, и на следующий день начинать все с начала; надо дожидаться воскресного утра, а в понедельник начинать все снова; надо ждать, пока они дойдут до Рейна, надо верить, что они придут, но ничего не придумывать, ни о чем не мечтать, а просто помнить, что мы здесь навсегда, что каждый наш день во власти эсэсовцев, помнить это до последней минуты, до того момента, пока те, кто стоял у микрофона, не скажут: «Через месяц... будущей весной...» – пока те, кто пока не спешил, не придут, не явятся сюда и не скажут: «Вы свободны!»

Вынуть руки из карманов, сделать шаг – это значит сделать нечто в ожидании, это значит ждать. Нет, нас сковывают не голод, не холод и не прошлое: нас сковывает время.

Где-то жизнь не выглядит нескончаемой схваткой со смертью. Люди работают, едят, знают, что они смертны, однако кусок хлеба не кажется чем-то таким, что сразу отодвигает час твоей смерти, что удерживает ее на расстоянии; время – это не только то, что приближает смерть, время несет с собой дела рук человеческих. Смерть неизбежна, с этим люди смиряются, но каждый из них действует несмотря на смерть.

Здесь же все по-другому: мы здесь, чтобы умереть. Эту цель выбрали для нас эсэсовцы. Они не расстреливали нас, не вешали, но каждому из нас, лишённому, согласно рациональному умыслу, пищи, суждено было умереть, вся разница заключалась во времени. Каждый из нас преследует только одну цель – не дать себе умереть. Хлеб, который мы едим, вкусен, потому что мы голодны, но раз он утоляет голод, мы знаем, мы чувствуем, что благодаря этому хлебу в теле теплится жизнь. Холод был невыносим, но, если эсэсовцы хотят, чтобы мы подошли от холода, надо защитить себя от него, ведь холод нес в себе смерть. Работа – она кажется нам абсурдной – выматывает, но раз она изнурительна и эсэсовцы хотят, чтобы мы от нее подошли,

следует экономить силы, ведь в работе заключена смерть. А еще время: эсэсовцы думают, что мы все равно умрем, и неважно отчего – от работы или от голода; эсэсовцы думают, что возьмут нас измором, то есть временем, ведь время заключает в себе смерть.

Соппротивление здесь сводится к сознательной борьбе со смертью. Большая часть христиан отвергает смерть с таким же упорством, как и все остальные. Она теряет в их глазах привычный смысл. Мир иной становится очевидным и даже обнадеживающим не в силу этой невыносимой жизни с эсэсовцами, но благодаря другой, нездешней жизни. Здесь же искушением является не наслаждение жизнью, а сама жизнь. И если христианин ведет себя так, будто не было цели благороднее, нежели выжить любой ценой, это значит, что никогда еще Божья тварь не оказывалась в ситуации, позволявшей ей осознать свою священную ценность. Человек может упорствовать в отрицании смерти, мог остановить выбор на своей жизни: смерть обращалась абсолютным злом, переставала быть ступенькой, ведущей к Богу. Это освобождение, которое христианин мог обрести в смерти, обращается здесь материальным освобождением от плененного тела. То есть возвратом к жизни во грехе, способной позволить ему вернуться к Богу и принять смерть как правило игры.

Таким образом, христианин ставит здесь Божью тварь на место Бога, достигая того момента, когда, добившись свободы, сохранив плоть на костях своих, он мог смириться со своим закабалением. Гладкий, наголо выбритый, отринутый эсэсовцем в своем человеческом качестве, человек в христианине занимает здесь место Бога.

Однако потом, когда ток крови восстанавливает чувство вины, христианин перестанет признавать откровение царственной Божьей твари, которое возникает перед ним здесь ежедневно и еженощно. Он готов к тому, чтобы подчинять его снова и снова – соглашаясь, например, с тем, чтобы ему говорили, что голод унизителен, – и все ради прощения, чтобы ему простили, хотя бы и задним числом, то время, когда он занимал место Бога.

Небо светлеет. Мы так и стоим под досками. Плечи словно каменные, налитые свинцом руки в карманах. Переход от ночи ко дню незаметен, он проходит в небе без видимого усилия. Из темноты выступают какие-то фигуры, но сигарета нашего капо еще не погасла. Мы остаемся под досками. Кое-кто побежал по нужде: чтобы не на поле, чтобы спрятаться за щитами, которые скрывают праведный страх тех, кто не горит желанием работать.

Ночью что с нас возьмешь? Ничто не может заставить нас работать в темноте, потому что в темноте за нами не уследишь. Вот почему все ждут, пока не рассветет. Когда рассветет, эсэсовец увидит, что мы ничего не делаем, тогда небольшие группы заключенных будут выглядеть скандально. Все ждут скандала, который будет вызван светом.

Мы уже лучше видим друг друга. Кое-кто болтает, сбившись по двое, по трое; русские смеются. Мы являем собой картину беспорядка, который вот-вот будет неоспоримым. Нас выдает наступающий день; теперь эсэсовцы не могут не видеть. Капо это чувствует; гасит свою сигарету; убежище открыто, мы на свету. Сейчас все это закончится.

– *Arbeit! Los!*¹³ – кричит капо.

Ну вот. Это не просто сигнал к началу работы, это созревший в ночи возмущенный призыв. Другого ждать не приходится. Мы всегда начинаем с опозданием. И для эсэсовцев, и для капо каждое утро содержит ночной пробел, который нужно заполнить криком. На самом деле у работы нет начала. Есть лишь перерывы; перерыв на ночь, с которым, однако, они смиряются, вызывает возмущение. Во сне, который подготавливает нас к новому рабочему дню, эсэсовцы черпают новые силы для новых криков.

– *Los!* – Односложное слово, вытолкнутое развернувшимся языком. Все время *emo los! los!* Впервые мы услышали его еще в Париже; потом во Френе – за нами гонится одно и то же слово, ночью перерыв, утром все сначала, с новым возмущением.

¹³ Работать! Давай! (нем.).

Держать руки в карманах запрещено. Это выглядит слишком независимо. Зачастую эсэсовцы встают перед нами, сунув руки в карманы; это знак власти, могущества. С нашей стороны – провокация. Им надо видеть, что наши фиолетовые руки висят плетьюми; в Бухенвальде, когда мы шли на работы, нам было даже запрещено размахивать руками.

Мы выбрались из своего укрытия под досками. Медленно шагаем к насыпи, где навалены щиты и балки. У нас такая походка, от которой в жизнь не отделаться. Когда эсэсовец или капо дает тебе ногой под зад, ты можешь пойти чуть быстрее, но бегать мы разучились. Идем, разглядывая землю. На поле видна влажная зелень. Глаза сами собой выхватывают одуванчики. Сквозь туман светлыми полосами пробивается солнце. Оно поднимается из-за холма, возвышающегося прямо перед нами, напротив железной дороги, с другой стороны дороги, на самом конце другого поля. Мы медленно, не толкаясь, идем по полю. Эсэсовец еще далеко, у завода. Капо на нас не смотрит.

Добравшись до насыпи, останавливаемся. Балок и щитов много, а нас всего человек пятьдесят. Самим никак не решиться начать работу. Как только послышалось первое «Los! Arbeit!», мы сразу пошли. Теперь стоим у насыпи, никто ничего не делает. Подходит капо. Он маленького роста, с багровой физиономией, голубоглазый. Замашки как у бродяги. Капо из уголовников, немец, деревенский: продавал поросят на черном рынке. Это Гиммлер отправил его сюда. По сравнению с другими он безобиден. Эсэсовцы прикрепили его к самой никудышной команде – *Zaun-Kommando*. Он не думал о нас; может, даже не видел. Знакомая картина: никто ничего не делает. Он бесится, начинает бегать, крича: «Los! los! Arbeit!» Но крики словно в землю уходят.

– Ладно, ладно, – говорит один из наших.

Подходим поближе.

– Ну что, начнем?

Товарищ, который ответил капо, взбирается на насыпь. Мы делимся на группы. Я буду с Жаком, студентом-медиком, с нами еще один француз, официант. Жак высокий, худой, неразговорчивый. Его арестовали в 1940 году.

Тот, что на насыпи, сбрасывает сверху длинную балку. Втроем кладем ее на плечи. Я положил как надо, немного склоняю голову, иду, сунув руки в карманы. Сходим потихоньку с насыпи. Каждый идет по-своему, надо приладиться друг к другу. Вся работа сводится к той точке плеча, где лежит балка. Идем как лунатики. Под ногами сыро. Балка погружает нас в какой-то зыбкий покой. Носить балки – это все, что они могут с нас потребовать. Если мы не несем балку, а еще только идем за ней, капо кричит: «Los!» В этот момент у нас есть все, что надо, мы несем свою ношу, все в порядке, мы не вызываем ни у кого возмущения.

У меня руки в карманах. От завода к нам идет маленький рыжий эсэсовец. Капо, едва завидев его, бросается ко мне:

– *Hände!*.. (Руки!)

Я вынимаю руки из кармана. Идем, не обращая внимания на эсэсовца. Солнце поднялось повыше. Над полем плывут коричнево-голубые тени. Официант посередине. Он в очках, длинноносый, пилотка спустилась на самые уши. Он ворчит, потому что выше нас и несет на себе больше груза. Надо было встать по-другому. Все это он выговаривает на ходу. Вот у них, в Оверни, едят как надо. Утром он выпивает свой кофе с молоком, ест хлеб с маслом. Днем то и дело наливает себе аперитив. В обед тоже ест как надо. Когда у него выходной, он не знает счета аперитивам. Женат, жена специально для него печет пирожные. И у матери он ест как надо. В Оверни жрут до отвала. Свинина, сыр. Время от времени режут поросенка – вот тогда чего только нет на столе! Вот бы разрешили посылки! Вот бы на обед был суп с фасолью! В тюрьме разрешали посылки: пять пачек сигарет на одну посылку. С охранником можно было договориться, сунув ему одну пачку, тогда хоть самогон проноси. Его продали в Клермоне. Этому не видно конца. Нечего им больше делать. Если бы только жена видела, как он здесь

живет! Сразу бы запричитала. Они там ничего не понимают. Оно и к лучшему. У него все было. Если бы знать, что все так повернется, он удрал бы из Компьеня, на все бы пошел, но удрал бы. В Компьене был рай. Всегда можно было найти пожрать. Вот бы сейчас сбегать за картошкой. Вчера был не суп, а жижа. Даже в Бухенвальде гуще давали. Суп был ничего себе. Один старик не жрал и отдавал ему свою порцию. В Бухенвальде можно было постоять за себя. Там везде был порядок. Целый литр супа! Здесь дадут пару неполных черпаков и все, а гущи со дна даже не дожидайся. В Бухенвальде был порядок. Так работать и не жрать – месяца через три полкоманды сдохнет. Если эти немного пошевелятся, то к Рождеству все закончится. В январе можно и по домам. Да, я нажрусь до отвала, если приеду к нему. Считаю, что приглашен.

Он говорит и говорит, задает вопросы, сам на них отвечает. Балку даже не чувствуешь. Пришли к месту, где их навалена целая куча. Поднатужились, бросили – лежит. Плечо свободно. Но нас ждет следующая балка. Медленно идем назад. Вроде сработались. Постараемся остаться вместе. Только официанта поставим в голову.

Когда говоришь, не чувствуешь веса балки; думаешь, что сразу можешь положить себе на плечо следующую – и после обеда, и завтра. Думаешь также, что вечером в соборе можно будет поговорить. На самом деле так думаешь. Между тем достаточно будет какой-нибудь мелочи (например, балка будет слишком коротка для троих), и мы не будем друг с другом знаясь. Каждый говорит для себя самого и себе же демонстрирует свои богатства: когда говоришь вслух, их лучше видно. Может, сегодня вечером придется так долго простоять за миской супа, что и слова из себя не выдавишь. А завтра мы можем и не поздороваться друг с другом.

Проходит время, и ты уже идешь с кем-то другим; он начинает тебе объяснять, как его мать готовит флан: ему тоже надо выговориться, про флан, про хлеб и молоко. И мы будем его слушать, представлять себе флан, кофе с молоком; и будем приглашать друг друга в гости, потому что, приглашая друг друга в гости, мы так и видим гору мяса, гору хлеба. А если вечером снова будет суп с брюквой, может, толкнешь локтем того, кто приглашал тебя отужинать с его женой.

Из туннеля появляется небольшой состав – это значит, прошла половина дообеденного времени. Он идет мимо нас. Мы его уже много раз видели. Он идет от Гандерсхайма до какого-то городка по ганноверской железной дороге в нескольких километрах отсюда. В поезде всего несколько старых вагонов с открытыми платформами; в окнах видны в основном дети.

Мы смотрим на этот поезд; если несем балку, то останавливаемся, оборачиваемся, чтобы было лучше видно. Всякий раз нас охватывает какое-то недоумение: а ведь люди в поезде куда свободнее эсэсовцев. Они покупают билеты, рассаживаются по местам. Они из своей Германии даже во Францию могут поехать. Могут сделать это совершенно естественно – так, как садятся за стол или укладываются спать. Когда ты свободен, большего и не надо – поест и поспать, да еще куда-нибудь поехать. Но эти немцы гораздо ближе к нашим, чем мы. Случись им встретиться с нашими близкими, возникли бы условности. Могли бы даже разговориться, случись им встретиться где-нибудь в Швейцарии.

Вот чего нам нужно достичь – возможности сесть в поезд, как они. Но для этого нужно, чтобы за нами кто-то приехал; чтобы кто-то снял с нас проклятие. Чтобы мы снова стали обычными людьми, как те немцы в поезде. Этому не будет конца. Он настанет, когда мы сможем сесть в поезд; конец войны вообразить себе можно, но чтобы мы сели в поезд...

– Смотрите! – кричит один из наших. – Французский вагон.

Он был в хвосте. Товарный. Все провожают его глазами до самого поворота, где поезд пропадает. «Вот повезло вагону!» Да, все на него так и смотрят. Вагон есть вагон, лошадь есть лошадь, облака, что плывут с запада, – все эти вещи и существа, неподвластные эсэсовцам, являются царственными; даже сила тяжести, из-за которой эсэсовец может грохнуться. Вещи теряют свою обычную неподвижность. Все начинает говорить, и мы все слышим, все обладает какой-то властью; ветер, овевающий наши лица западом, обманывает эсэсовца; то же самое

с французскими буквами на вагоне. Мы как будто ушли в подполье. Деревья теряют листья, высыхают и умирают вовсе не потому, что эсэсовцы решили, будто мы нелюди. Когда я смотрю на опушку леса, а потом перевожу свой взгляд на эсэсовца, он видится мне каким-то маленьким: он тоже за колючей проволокой и приговорен быть с нами, за колючей проволокой, он заключен в машину собственного мифа. Мы вопрошаем, провоцируем пространство. В шесть утра, когда я был уже здесь, у меня дома спали. Крепко спали, пока я был здесь; а вчера вечером вспоминали меня, я в это время уже спал. Когда я получил дубинкой по голове, там вспоминали поездку в Тамарис, неподалеку от Касабланки. Обо мне говорили вчера, а я в это время стоял за супом и думал только о черпаке, что нырял и выныривал из ведра. В этот момент я не любил своих близких, в голове был только черпак; я не люблю их *все время*, они тоже.

Однажды ночью я стал звать их; они, должно быть, еще не спали. Спали вокруг мои товарищи. Я стал кричать тихо, продолжительно, уверившись, что они должны были меня услышать. Колдовство какое-то. Я, как никогда, абсолютно точно знал, что нахожусь здесь, что здесь, возможно, и кончусь. Может, нас обманывает язык; он один и тот же – и там и здесь; мы используем те же самые слова, произносим те же самые имена. Тогда мы начинаем его обожать, ибо язык – единственная вещь, которой мы обладаем. Когда рядом немец, я говорю по-французски с особенным старанием, так, как никогда не говорил бы там, дома; я выстраиваю безукоризненные фразы, не пропускаю ни одной фонетической связки – с таким тщанием, с таким сладострастием, будто не говорю, а пою. Когда рядом немец, французский язык звучит; я вижу его, вижу, как он вырисовывается, пока я говорю. В моей власти его остановить и заставить звучать снова, я располагаю своим языком. За колючей проволокой, в окружении эсэсовцев, мы говорим на том же языке, на котором говорят там, и эсэсовец, не понимая нас, вынужден это терпеть. Наш язык не вызывает у него смеха. Он лишь подтверждает наш удел. Говоришь ли ты тихо, говоришь ли ты в полный голос, молчишь ли, язык остается самим собой, ему ничто не угрожает. Да, они многое могут сделать с нами, но не могут заставить нас выучить другой язык – язык заключенных. Напротив, наш родной язык становится лишним оправданием нашего пленения.

Никто не отнимет у нас этой достоверности, хотя и не все о ней подозревают, никто не может лишить нас возможности прибегать к этому бормотанию юности или старости, никто не может лишить нас этой постоянной и высшей формы независимости и самобытности.

Поезд давно прошел. Балки и щиты мало-помалу собираются в кучи. Мы работаем все медленнее и медленнее. После каждой ходки мы останавливаемся возле насыпи и бездельничаем.

Я пробрался за кучу щитов. Русские уселись на доске, их тоже закрывают щиты. Капо Алекс проходит мимо них, не сказав ни слова. Русские – очень сильные, сплоченные, капо не осмеливается поднять на них дубинку.

Зато он набрасывается на меня.

– *Los! Mensch, Arbeit!*¹⁴

Я медленно выбираюсь из укрытия. Он смотрит на меня своими маленькими голубыми глазами и не может понять, надо ему еще орать или нет.

– *Franzose?*¹⁵

– *Ja*¹⁶.

Я иду рядом с ним к насыпи. Он идет, опустив голову, потом вдруг поворачивается ко мне, будто в озарении:

– *Ach!* Александр Дюма?

¹⁴ Давай, тварь, работай! (нем.).

¹⁵ Француз? (нем.).

¹⁶ Да (нем.).

– *Ja*.

Он смеется, я тоже.

Я добрался до насыпи. Выбрал балку поменьше и снова спустился на поле. Иду себе потихоньку. Алекс, оставшийся у насыпи, подгоняет: *Los! los! Mensch!* – и приподнимает кусок толстой резиновой трубы, которая ему служит дубинкой. Я немного ускоряю шаг.

Люсьен стоит, прислонившись к груде щитов, бездельничает. Смотрит, смеясь, на меня и Алекса. Люсьен поляк, уголовник, долго жил во Франции. Знает русский, польский, немецкий, французский. Блондин со светло-голубыми глазами и обрюзгшим лицом. *Dolmetscher* (переводчик). Он переводит приказы эсэсовцев и капо, поэтому не работает и получает двойную порцию. Скоро он станет *Vorarbeiter*¹⁷, то есть, как он сам говорит, будет *подстегивать* нас на работе. Получит еще одну порцию.

Вначале он ничем не отличался от нас, простых заключенных. Но ему помогло знание иностранных языков. Как-то раз мы просто стояли в поле. Люсьен говорит нам: «Смотрите, эсэсовец! Давайте за работу!» Никто на него даже не посмотрел. Когда эсэсовец подошел поближе, он стал орать и ругаться: «А ну быстро за работу, черти!» – при этом посматривал на эсэсовца, который на этот раз промолчал. В другой раз он донес на одного испанца, который прятался за щитами: сказал об этом капо, а тот передал все эсэсовцу. Бедолага получил 25 ударов дубинкой по задку. Для Люсьена началась другая жизнь. Он понял, что для того, чтобы выжить, не надо работать самому: надо заставлять работать других, доносить на них и жрать за это лишние порции. Вот почему Люсьен растолстел. Он ни на шаг не отходит от капо. Заискивает перед ним, смешит. Он вошел в категорию заключенных, которую будут называть *аристократией* рабочих команд – в основном состоящую из уголовников; это объясняется тем, что наши капо не политические, а немцы-уголовники. Они будут жрать, курить, носить пальто и настоящие ботинки. Будут орать на нас за то, что мы не моемся, а у нас один кран на пятьсот человек, тогда как они моются теплой водой и меняют белье.

Добавочный хлеб, которым они обжираются, маргарин, колбаса и литры, литры супа – все это наше, они нас обворовывают. Каждому своя роль: чтобы они жили и жирели, другие должны работать, подыхать с голода и терпеть побои.

* * *

Конец ноября. – Насыпь расчищена. Часть строительной команды была отряжена натягивать колючую проволоку вдоль железной дороги. Остальные перекапывали поле, ровняли участки, строили бараки.

Зачастили дожди. Вечером мы возвращались в собор насквозь промокшие, к утру полосатая роба не просыхала и, когда мы выходили на работы, примерзала к коже. Между курткой и рубашкой засовывали бумагу. Мы боялись за легкие. На самом деле это был коллективный страх. Медикаментов не было. Даже самые закаленные крестьяне, которые никогда не думали о своем здоровье, понимали, чем грозит этот дождь. Они вдруг почувствовали уязвимость своего тела, которое когда-то было готово к любым испытаниям; они никогда не думали, что оно может ослабеть; считали, что им нипочем любой ливень. О болезнях говорили так, как говорят о них привыкшие болеть люди. На улице они, исполненные страха, смотрели на темные тучи, на черное небо. Этот страх не покидал их. Тщетно втягивали они головы в плечи, обматывали тело, потирали руки, борясь с холодом, просили товарища потереть спину – болезнь была внутри. Они потеряли доверие к своему телу; осознали его беспомощность.

¹⁷ Бригадир (нем.).

Утром на поле появился капо Фриц: ему нужно было отобрать несколько заключенных для работы на заводе. Я попал в число отобранных. Товарищи перестали копать, глядя, как мы уходим. Наступили холода. Дожди кончились, надо было ждать снега.

Мы шли быстрым шагом; посматривали друг на друга, улыбаясь. Оставшиеся были уже далеко, мы шли не оглядываясь. Подойдя к заводу, я обернулся: наши снова копали, капо Алекс орал: *Los! Arbeit!*

Меня прикрепили к складу. Это было настоящее убежище. У меня появилась крыша над головой. Те, кто здесь уже работал, привыкли, что они под кровом; чувствовали себя свободнее, в них не было этого страха за легкие. Они даже скучали. Считали часы и думали, что пребывают в самом сердце заключения. Они были в *своем* концентрационном лагере, я же только что вышел из своего.

Я заполучил свободу, мне не было холодно. Мало-помалу забывалось тело. Много успокаивало: ноги с радостью ступали по цементному полу. Нигде не было грязи. Заключенные вокруг что-то делали своими руками или стояли за станками; на их лицах не было и тени озабоченности; они не приседали и не наклонялись. Цивилизация явила себя на заводе.

Я бессмысленно ходил по складу. Меня подозвал капо Фриц. Мне было приказано подмести один кабинет и растопить там печку. Кабинет был этажом выше.

Я поднялся. На первой лестнице вход одной из дверей был завешен серым полотном. Я поднял занавес и вошел.

Сняв пилотку, огляделся. За столом сидела молодая брюнетка в черном; у нее было бледное лицо, на шее повязан сиреневый шарф. В довольном просторном кабинете стоял еще один стол, на нем печатная машинка и стопки бумаги. В кабинете были также стулья и одно кресло.

Я стоял с пилоткой в руке и смотрел на женщину. Она поднялась, взяла в углу веник и протянула его мне издалека. Пальцем указала на пол.

В этот момент зашел Фриц. Он тоже снял пилотку. Я взял в одну руку веник, в другой была пилотка. Фриц был плохо выбрит, в этом кабинете он выглядел как заключенный; правильный заключенный, но все же заключенный. Он поздоровался с женщиной, она ему едва кивнула.

Он отстраненно, официальным тоном заговорил со мной. Мне нужно было быстро подмести, а потом так же быстро растопить печку; а еще мне нужно было снимать пилотку всякий раз, как я сюда вхожу.

Он все это говорил мне, а смотрел на нее, на женщину; она одобрительно кивала головой. Она стояла, прислонившись к столу. Фриц разговаривал с ней на ее языке, на нем же он отдавал мне команды; для нее это был немецкий *лагерный* и ничего больше. Вскоре Фриц ушел, она не обратила на это внимания.

Я остался с ней наедине и начал подметать. Она стояла и смотрела. Мы не сказали друг другу и двух слов. Она видела букву F на моей куртке, поэтому знала, что я француз. Я был наголо выбритым французом, находился в ее кабинете и плохо подметал пол. Я и в самом деле очень медленно подметал, но мало-помалу приближался к ее ногам; она стояла не двигаясь. Смотрела на растущую на глазах кучку пыли. Я продолжал тянуть время. Когда веник оказался почти у самых ее ног, она резко отступила назад. Я остановился, поднял голову: лицо судорожно сжалось. Она вся была напряжена и так и не садилась.

Я снова взялся за веник, кучка мусора сместилась немного вперед, она снова резко отступила. Потом она оглянулась вокруг себя, после, не зная, наверное, на что ей еще посмотреть, уставилась на мусор. В конце концов не выдержала:

– *Snhell, schnell*¹⁸, мсье! – сказала она.

Это были ее первые слова.

¹⁸ Скорее, скорее (*нем.*).

Я выпрямился и взглянул на нее, беспомощно пожав плечами. Взгляд у нее был тяжелый.

Она проспала всю ночь в постели, встала в шесть часов, пришла в свой кабинет и безразлично положила на стол пакет с ломтиками намазанного маслом хлеба. Она не думала, что увидит меня, что останется со мной наедине. Если бы я подметал хорошо и быстро, она бы даже не заметила меня; но я подметал из рук вон плохо. Я был тут, обосновался в этом кабинете, не зная, что делать с этой кучей мусора; она неожиданно увидела вблизи одного из нас. Она не была к этому готова.

Теперь немка изредка посматривала в мою сторону; с трудом меня выносила. Я давил на нее, делал уязвимой. Если бы я прикоснулся к рукаву ее блузки, ей стало бы плохо. Чрезвычайная мощь выбритого черепа и полосатой робы; облачение приумножало силу.

Я снова взялся за веник, но мёл отнюдь не быстрее. Она вцепилась пальцами в край стола, на который опиралась. Так продолжаться больше не могло. В самом деле, она вдруг вырвала у меня из рук веник и принялась исступленно мести.

Я замер, стоя посреди кабинета; мне было нечего делать. Подбоченившись, стал разглядывать стены, чувствовал себя спокойно. Немка мела. Выровняв кучу мусора, она сунула мне веник. Я посмотрел, наклонившись, на кучу, потом на нее, да, она здорово подмела.

Я собрал мусор в лопату, вышел и сразу натянул пилотку.

Через несколько минут я вернулся. В кабинете толпилось несколько немцев. К девице вернулось самообладание; за ней стояло несколько бравых немецких самцов. Это были гражданские из Гандерсхайма. Я снова снял пилотку. Для них меня словно не было. Я подошел и поднял обрывок бумаги у ног одного из немцев. Он машинально отодвинул ногу, продолжая говорить с другим немцем. Еще один обрывок, еще одна нога. Немец убрал ногу так, как сгоняют муху с лица, будто во сне. Я бродил по их снам. Я мог бы, если бы мне этого захотелось, заставить их шевелить ногами; они меня не видели, но тела их двигались; ровно в той мере, в какой я для них не существовал, они были несвободны.

Не спала только молодая брюнетка; она внимательно следила за моей работой; понимала, что я играю; знала, что я подбираю обрывки бумаги у ног только ради того, чтобы приблизиться к богам, чтобы заставить их шевелить ногами.

Она не могла меня изобличить, потому что для этого нужно было рассказать всю историю; они бы сразу не поняли; тогда ей пришлось бы признать, что она не столь могущественна, как они, поскольку обратила на меня внимание. В этом случае ей пришлось бы явить меня их взорам, а им пришлось бы со мной разговаривать, формулировать для меня фразы, чтобы снова свести меня к пустому месту.

Закончив собирать бумагу, я приготовился было растопить печку, подошел к ней и начал выгребать золу. До девицы все сразу дошло, она прямо подпрыгнула, а потом спокойно сказала мне, что достаточно и я могу убираться.

Выйдя из кабинета, я снова натянул свою пилотку. На лестнице я едва не столкнулся с одним гражданским. Он был в серой куртке, сапогах, на голове маленькая зеленая шапочка.

– *Weg!* (С дороги!) – сказал он хриплым голосом.

Обошлось. Здесь, возможно, это не имело большого значения. Но это был порыв самого настоящего презрения – рана мира, – которое в той или иной мере продолжает царить повсюду в человеческих отношениях. Царить в том мире, откуда нас убрали. Просто здесь оно было очевиднее. Мы предоставляли презрительному человечеству возможность раскрыть себя полностью.

Этот гражданский бросил мне: *Weg!* Он даже не остановился, бросил это слово на ходу и успокоился. А мог бы показать себя в свете своей истины: «Я хочу, чтобы тебя не было».

Но я еще был, и все обошлось.

У самого презренного пролетария остается в распоряжении разум. Он не так одинок, как тот, кто его презирает, чье место в мире неуклонно сокращается и кто становится все более и

более одинок, все более и более беспомощен. Нас не берет их брань, равно как им не осознать того кошмара, что мы сидим в их головах: нас сводят к пустому месту, а мы по-прежнему есть.

У Рене есть осколок зеркала, который он нашел еще в Бухенвальде, после августовской бомбардировки. Он неохотно его достает, потому что все сразу бросаются к нему и клячат. Хочется посмотреть на себя.

До последнего раза, когда у меня оказалось зеркало, я давно не смотрелся. Было воскресенье; я сидел на матраце, торопиться было некуда. Мне было не интересно, какой у меня цвет лица – желтый или серый, что случилось с зубами или носом. Первое, что я увидел, это лицо. Я его забыл. Просто таскал какой-то груз на плечах. Взгляд эсэсовца, его манера вести себя с нами – по сути неизменная – все это говорило, что для него мы все на одно лицо. На переключке мы стояли шеренгой по пять, эсэсовцу надо было насчитать пять голов в каждой шеренге. *Zu fünf! Zu fünf!* Пять, пять, пять голов. Лицо могло выделяться только благодаря какому-нибудь лишнему предмеру: например, очкам, которые в данном случае становились сущим бедствием. А если кого-то надо было *выделить*, чтобы не терять из виду, то капо рисовали один красный и один белый круг на спине заключенного.

С другой стороны, никому не надо было выражать своим лицом что-нибудь такое, что могло положить начало диалогу между заключенным и эсэсовцем, что могло бы удалить с лица эсэсовца это постоянное и одинаковое для всех заключенных отрицание. И поскольку было не только бесполезно, но и опасно, чтобы твое лицо что-то выражало, когда ты имел дело с эсэсовцем, то мы непроизвольно выработали в себе стремление, направленное на отрицание собственного лица, что как нельзя лучше соответствовало устремлениям эсэсовцев. Таким образом, лицо заключенного отрицалось, причем отрицалось дважды – оно превращалось в нечто смехотворное и провокационное, в нечто подобное маске: в самом деле, если бы у нас на плечах были наши прежние лица, человеческие маски, это могло бы спровоцировать скандал; словом, в конце концов лицо исчезло из нашей жизни. Ибо даже если заключенные общались между собой, их лица были отмечены печатью этого отсутствия, почти воплощали его. Полосатая роба, выбритый череп, прогрессирующая худоба, ритм здешней жизни – в конечном счете другом являлось почти что коллективное и анонимное лицо. Чем и объяснялась эта своего рода вторичная жажда – обрести самого себя в волшебном зеркале.

В то воскресенье я словно держал свое лицо перед зеркалом. Оно не отличалось ни красотой, ни безобразием: оно сияло. За мной следовало, со мной прогуливалось. В настоящий момент его нечем было занять, но это было оно, мое лицо, машина, призванная выражать эмоции. Рядом с ним морда эсэсовца казалась ничтожной. А лица товарищей, которым тоже хотелось посмотреть на себя в зеркало, сводились к одному и тому же лицу, форма которого была зафиксирована эсэсовцами. Только то лицо, что было в зеркале, чем-то отличалось. Только оно говорило нечто такое, что здесь было не к месту. В этом кусочке стекла отражался мираж. Здесь мы были не такими. Такими мы были только в зеркале, причем наедине с собой, и товарищи, что ждали зеркала, ждали совсем другого – кусочка ослепительного одиночества, в котором тонуло всё и вся, и эсэсовцы и все остальные.

Однако же нужно было отдать зеркало другому, жаждавшему взглянуть на себя. Мы стояли в очереди за кусочком одиночества. И когда оно было у тебя на ладони, твое одиночество, остальные кругом изводили тебя.

Но даже если бы мне не надо было передавать зеркало другому, я все равно бы его отдал, потому что, разглядывая себя в зеркало, я заражал собою отражавшееся там лицо; оно старело, ему приходилось равнять себя по другим лицам, оно становилось изможденным, несчастным, похожим на руки, на которые смотришь пустыми глазами. Да оно и к лучшему. Этому новому, одинокому, обведенному рамкой лицу здесь было нечего делать. Здесь оно насквозь пропиталось бы отчаянием, стало бы невыносимой мерой той дистанции, сама природа которой была невыносимо недостоверной: в зеркале отражалось не прошлое, о котором только и оставалось

что вспоминать, не какие-то прошлые состояния, способные, как и все прочее, рвать тебе душу. Нет, душу выматывало другое: в зеркале отражалось то, во что ты мог реально превратиться завтра, и это было самое невозможное.

В подвальном заводском складе я работаю вместе с Жаком, студентом-медиком. Мы спокойны. Нам поручено укладывать по блокам детали для кабины самолета. Командует гражданский, он из Рейнской области. Это довольно высокий блондин, не снимающий теплой коричневой шапки, сдвинутой на затылок. Ему лет сорок пять, он почему-то все время грустит, ходит медленно, тяжело, с отсутствующим видом. Похоже, скучает, а может, болеет какой-нибудь нетяжелой, но затяжной, хронической болезнью.

Однажды утром он зашел к нам в блок. С минуту смотрел равнодушно, как мы работаем. Затем подошел к нам поближе и произнес спокойно и довольно отчетливо:

– *Langsam!* (Помедленнее!)

Мы сразу повернулись к нему, будто он включил сирену. Смотрели на него, не произнося ни слова, не выказывая даже тени понимания. Он тоже на нас смотрел и больше ничего не сказал. Не улыбнулся, не подмигнул, а потом вышел.

– *Langsam!* – Этого было более чем достаточно.

Того, что он сказал, было достаточно, чтобы отправить его в лагерь, превратить в такого же, как и мы, полосатого. Если он говорит *Langsam!* таким, как мы, тем, кто здесь для того, чтобы работать и подохнуть, значит он против эсэсовцев. У нас с этим немцем с завода есть свой секрет, в который не посвящен ни один из немцев с завода. Когда он разговаривает с другими немцами, большинство из которых нацисты, только мы знаем, что он им лжет. Когда он отвяжется от них, он может подойти к другим заключенным и сказать им: *Langsam!* Время от времени он будет бросать это слово, но сначала внимательно изучит тех, перед кем он держит это слово в запасе, а потом молча уйдет.

Блондину скучно. Он просто делает вид, что ему интересно устройство кабин самолетов. Он давно понимает, что все это ни к чему и служит лишь тому, чтобы другие немцы гибли ни за что. Он знал это до войны. Вот откуда его скука, его болезнь. Об этом можно было догадаться. Теперь мы понимаем, зная то, чего не знают другие, что его скука говорит сама за себя. Эсэсовцы смогли бы расстрелять всех немцев, у которых скучающий вид. Теперь нам даже кажется, что он не очень осторожен.

Этот человек часто останавливается перед окном и подолгу смотрит на окружающий пейзаж. Вечером, когда мы подметаем коридор подвала, он проходит мимо и старается на нас не смотреть. Ему нужно было сказать только это слово: *Langsam!*

Привезли пятьдесят поляков из Аушвица. Держатся господами, по большей части крепкие розовощекие мужики. Без полосатых роб, в плащах на теплой подкладке, в свитерах. Некоторые с золотыми часами. Мы знаем, откуда эти часы. Знаем, что такое Аушвиц. У них, естественно, и табак есть.

Они прекрасно говорят по-немецки. Четыре года провели в концлагерях. Всем найдется тепленькое местечко. Они привыкли хорошо питаться в Аушвице; здесь будет то же самое. Один уже заделался ординарцем *Lagerführer* СС, другой заправляет на кухне, третий – в столовой эсэсовцев.

Трое приходят работать на склад: дантист, офицер и хозяин транспортной компании. Последний растолстел дальше некуда: в Аушвице работал на продовольственном складе. Чистенькие, улыбчивые. Наш немец объясняет им, что они должны делать. Поляки все понимают. Они говорят на очень правильном немецком языке, верно используют интонацию, общаясь с гражданским. Едва получив указания, принимаются за работу, работают споро, с интересом, даже с умом. Когда к нам подходит *Meister*¹⁹ и просит какую-нибудь деталь, поляки сразу

¹⁹ Мастер, бригадир из гражданских (нем.).

выскакивают вперед, задают вопросы, что должно показать, насколько они вникли в суть дела. Немец смотрит на них с явным любопытством.

– Мы *особые* заключенные, – объясняет нам через несколько дней дантист гнусавым голосом.

Подходит начальник склада; он нацист. Держится как юнкер. Трое поляков выходят вперед, щелкают каблуками. Стоя по стойке смирно, услужливо пожирают немца глазами. Тот доволен. Присматривается к нам: поляки выглядят и поздоровее, и почище.

Мы – лишние. Немец что-то говорит: мы улавливаем *Zaun-Kommando*. Это значит земляные работы на заснеженном поле. Та команда стала дисциплинарной. Немец прекращает говорить. Все стоят не шелохнувшись, он выходит.

– Что он сказал? – спрашиваем у дантиста.

Он знает; он все прекрасно понял. Как всегда, мы не у дел; а главное, почти ничего не поняли. Мы расслышали только одно слово, но что оно значило в окружении других слов? Понятно, что было принято какое-то решение, но какое? Понятно, что это решение касалось нас, кто, как и всегда, не у дел, словно глухие, поэтому приходится справляться у розовощекого поляка: «Что он сказал?»

– Похоже, вас отправят в *Zaun-Kommando*, – отвечает дантист.

Сказав эту фразу с важным видом, дантист удаляется – он спокоен и весьма доволен.

Снова появляется *Meister*, он ищет какую-то деталь. В конце концов находит ее, но из блока не уходит: полка, где он ее нашел, не соответствует той, что указана в плане. Немец спрашивает у дантиста, кто укладывал эти детали.

– *Der Franzose*, – отвечает дантист.

Немец пожимает плечами, он уже знает, что нас отправляют обратно в *Zaun-Kommando*. Нас отправляют обратно, потому что мы не говорим по-немецки, потому что мы не спорим, потому что грязные и на нас неприятно смотреть, потому что начальник склада, увидев вновь прибывших, даже секунды не колебался, кого оставить. Для эсэсовцев и нацистов мы представляем собой воплощение зла, ибо не говорим по-немецки, выглядим слишком худыми и грязными и нас нельзя использовать за токарным станком. Мы годимся только для *Zaun-Kommando*. Там наше место.

Завтра нам уже не придется строиться с теми, кто работает на складе. Отныне они для нас счастливики. Мы будем работать с остальными на улице. Там, под снегом, на ветру, у заключенных даже лица другие. В *Zaun-Kommando* лица у всех стянуты, руки-ноги едва двигаются, в глазах, которые стали безучастными и ни на что не смотрят, сквозит извечное страдание. По большому счету на улице никто не смотрит, как кто работает: довольно и холода. Заключенных передали в руки холода. Утром они идут по двое или по четверо и несут кто балку, кто щит, пытаются выкопать яму в промерзшей земле. Случается, кто-то, не выдержав этой работы на холоде, бросается к заводу, врывается туда и сразу бежит к печке. Товарищи, работающие на заводе, стараются не смотреть на беглеца, но дрожат за него. Тот, кому сегодня поручено топить, пытается его выпроводить: «Это запрещено, из-за тебя мне попадет». Но бедолага не отвечает и стоит, прижавшись к печке: тело сжалось, глаза покраснели. Бывает, что замечают его не сразу. Немного согревшись, он начинает озираться: откуда они придут. Они уже идут. Гражданский, стоящий в десятке метров от печки, начинает орать. Несчастный по-прежнему не отходит от печки, неистово цепляясь за каждую секунду тепла. Подбегает немец и начинает бить его по лицу: тот лишь слабо загоразивается руками. Затем идут пинки, удары по спине. Немец будто возбуждается от этой глухоты, от этого звериного упорства. В конце концов бедолага снова бежит в снежное поле, за ним гонятся. Изгнан из рая. Другие смотрят. Они готовы на все, лишь бы их не отправили в *Zaun-Kommando*.

Страх пропитал все мое тело, пронизал все его части. Я не знаю, как буду их защищать и какую из них прежде всего. Не могу сделать выбор. Не могу вообразить себе, как шесть часов

подряд буду втыкать лопату в промерзлую землю, стоя на ветру, который пробирает через каждую щелочку, пронизывает через одежду.

Один раз нам выдали полосатые шинели и пальто. Аристократам достались лучшие. Как-то ночью я пошел пописать и, увидев прямо на земляном полу шинель, взял ее себе. Она была порвана, маленького размера, к тому же воняла. Разорванные штаны натирают ягодицы. Я хожу, сгорбившись, втянув голову в плечи, старик стариком. Неделями из всех частей своего тела я вижу только ладони.

Меня страшит сама мысль о *Zaun-Kommando*; я готов на все, лишь бы там не оказаться. Попытаюсь пристроиться где-нибудь на заводе, буду делать вид, что работаю, потом ко мне привыкнут; капо подумает, что меня сюда назначили. Я готов на все, лишь бы не оказаться в *Zaun-Kommando*.

Подвал разделен надвое широким проходом. С одной стороны находятся блоки небольшого склада, с другой – сварочная, кузница и цех с токарными станками. Гражданские входят на завод через широкие подвальные ворота, выходящие на поле и гандерсхаймскую дорогу. С другой стороны подвала маленькая дверь, выходящая к спуску, который ведет к дороге, идущей к собору. Если взглянуть на север, то внизу, слева от завода, увидишь несколько стоящих в ряд барачков: столовая для гражданских, столовая для эсэсовцев, продовольственные склады, подстанция, сапожная мастерская и т. п.

На первом этаже большой *ангар*: там обрабатывают дюралюминиевые детали и собирают корпуса самолетов. В ангаре работает Поль. Он целыми днями сидит перед тисками и стучит молотком по дюралюминиевым пластинам. Он изо всех сил старается испортить их побольше, а потом ходит выбрасывать брак на улицу, в металллом, отдыхая по дороге. Днем мы с ним не видимся. Встречаемся только вечером в соборе – я, Поль и Жильбер. Жильбер, который знает немецкий, работает в ангаре переводчиком: он переводит заключенным приказы и распоряжения немецких мастеров. Мастера испытывают к нему некоторое уважение: как же, он говорит на немецком языке, языке всеблагодной Германии, на котором они говорят у себя дома, в своих постелях. Они даже немного заинтригованы этим типом в полосатой робе, понимающим их с полуслова, зэка, которого они даже могут поначалу принять за своего. Поскольку Поль говорит на языке мастеров, ему часто удается сделать так, чтобы наших поменьше били. Обычно это происходит следующим образом.

Кто-то из наших работает в цеху, подходит мастер. Начинает разглядывать зажатую в тиски деталь. Она испорчена. Мастер говорит об этом заключенному, иногда даже спокойным голосом. Заключенный не понимает, ничего не отвечает, только пожимает плечами. Мастер начинает терять терпение. Срывается на крик. Сейчас начнется. Заключенный чувствует, что сейчас начнется. Просит товарища сбегать за Жильбером. Но это не так-то просто, того еще надо найти. То есть надо потянуть время.

– Один момент, – говорит он мастеру, – *Dolmetscher*²⁰, – и показывает пальцем на другой край завода.

– *Dolmetscher? Was Dolmetscher?* – выходит из себя мастер.

И тут, если повезет, подходит Жильбер. Он сразу же заговаривает с мастером по-немецки. Он словно пригвозждает его. Используя язык мастера, Жильбер привязывает его к себе. Для начала надо высвободить товарища – дело сделано. После этого мастер и переводчик говорят между собой. Товарищ уже ни при чем. И совсем неважно, что говорит Жильбер: дескать, заключенный не умеет делать эту работу, это не его профессия, нельзя требовать от него чего-то стоящего, если он вообще в первый раз взялся за молоток; что он не понимает по-немецки, и в этом нет его вины. Да, они говорят по-немецки, здорово. Но пусть взбучка оста-

²⁰ Переводчик (*нем.*).

нется на следующий раз. Потихоньку лай немца превращается в ворчание; он искоса посматривает на Жильбера и наконец убирается.

Так Жильбер переходит из цеха в цех, и товарищи оказываются под защитой немецкого языка, которым он манипулирует. Но его в конце концов вычислили, он настроил против себя капо; особенно Фрица, с которым он как-то раз сцепился. Правда, это было еще до того, как эсэсовцы официально объявили, что тот, кто тронет капо, будет повешен. Капо недовольны, что переводчик, который, естественно, пользуется большим влиянием среди заключенных – Жильбер был единственным из французов-политических, получившим официальное назначение, – с ними не заодно. Им хотелось бы, чтобы он колотил заключенных, а не выгораживал их. Им хотелось бы, чтобы он открыто подыгрывал аристократам. Но поскольку Жильбер с ними не заодно и не приторговывает, как аристократы, они обвинят его в агитации. Капо донесут на него лагерфюреру, который оставит Жильбера про запас, чтобы сдать его в удобный момент эсэсовцам. Во всяком случае, именно под этим предлогом Фриц поквитается с ним за то, что получил от него в морду.

Часть заключенных работают в большом здании прямо у железнодорожной насыпи: это главный склад. Сюда из Ростока, с головной компании «Хейнкель», привозят основные детали. А еще на главном складе множество драгоценных вещей: гвозди, маленькие коробочки, в которых можно хранить маргарин, пакеты из толстой бумаги, где лежат гвозди, но куда можно прятать бумагу, проволока, идущая на то, чтобы обматывать останки наших башмаков, пропитанная гудроном толстая бумага – ее используют заключенные из строительной команды, защищаясь от дождя. Мы часто забираемся на этот склад. В нем тихо и почти не бывает охраны. Там сидит один русский: ему поручена инвентаризация. Порой, проходя мимо какого-нибудь блока, он видит сидящего на корточках и чем-то занятого заключенного: тот ворует. Русский ничего не говорит.

Временами, держа в руке пакет с какими-нибудь скобками или скрепками, начинаешь мечтать: а вдруг в этом тяжелом и набитом битком пакете не железо, а жрачка. Но здесь нет ничего, кроме железа.

Мы с Жаком все еще работаем на малом складе, в подвале. Скоро полдень, время, когда дают суп. Нам еще дают суп в *Mittag*²¹, но скоро это закончится. В скором времени будет только хлеб с маргарином по утрам и суп вечером. Дождаясь сирены, я забился вглубь блока. Проходит несколько минут, и вдруг в блок заходит немка. Она ищет какую-то деталь. Я начинаю делать вид, что помогаю ей, а сам искоса на нее посматриваю. Она молодая, светловолосая, худощавая, довольно высокого роста; на бледном лице выделяются светло-голубые глаза.

Она посматривает в мою сторону; я по-прежнему делаю вид, что ищу нужную ей деталь. Для пушшего правдоподобия даже перестаю смотреть на нее, теряю из виду на несколько секунд. Она вдруг направляется к выходу из блока, останавливается и, повернувшись ко мне спиной, вытягивает голову и осматривает проход. Затем поворачивается ко мне лицом, подходит и встает, повернувшись к ящикам. Я тоже стою у ящиков, в двух метрах от нее. Не понимаю, чего ей надо. Немка снова смотрит на меня, затем боком подходит ближе, по-прежнему глядя на ящики. Я как стоял, так и стою. Она уже совсем рядом. Вдруг снова оборачивается и смотрит в сторону прохода, после чего ее левая рука опускается в карман фартука. Она медленно ее вынимает, зажав что-то в кулаке. Лицо у нее судорожно сжимается, и она протягивает мне свою руку, держа что-то внутри.

– *Nicht sagen* (Молчок), – говорит она шепотом. Я беру то, что у нее в руке.

– *Danke*.

Что-то твердое. Я сжимаю кулак и слышу хруст. Лицо у нее расслабляется.

– *Mein Mann ist gefangene*. (У меня муж в плену.)

²¹ Полдень (нем.).

Затем она уходит.

Это был кусочек белого хлеба.

Я опускаю руку в карман, не разжимая кулака.

После этого случая не могу оставаться на месте. Выхожу из блока, все так же держа руку в кармане. Товарищи со сварки наклонились над горелкой. С ними ничего не произошло. А я смотрел на них так, будто находился по ту сторону колючей проволоки.

Обычная женщина с завода. Она работает вместе с теми, кто смеются, когда мастер бьет заключенного. С ними работает и тот немец из Рейнской области. Никто из моих товарищей даже не подозревает, что произошло между нами, между этой женщиной и мной. Никто из них не видел, какое у нее было лицо, когда она протягивала мне руку с хлебом, и какое оно было потом, когда она ее опустила. Мякиш и корочка; чистое золото. Сейчас зубы вопьются в них и превратят это в мягкий и влажный шарик, который тотчас будет проглочен. Это был не хлеб с бухенвальдского завода, не хлеб уравнения «хлеб = работа = дубинка = сон»; это был человеческий хлеб. Надо бы жевать его помедленнее; но даже если жевать его очень медленно, все равно рано или поздно этот хлеб будет съеден. Именно потому, что он съедобен, этот хлеб, она и сказала: *Nicht sagen* (Молчок). То есть его *надлежало* съесть. После этого – ничего подобного; другого куса такого хлеба не будет.

Как и с тем немцем, то, что произошло с этой женщиной, останется без завершения. Они появились на миг в полумраке блока. Сделали тебе знак. В сварочной мастерской, в ангаре, на улице они по-прежнему будут тебя избегать. Когда столкнешься с этой женщиной, она, возможно, незаметно кивнет; проходя рядом с тем немцем, возможно, услышишь: «*Guten morgen, monsieur*». И это всё. Придется довольствоваться тем, что знаешь. Правда, необыкновенно возрастает сила внимания. Убеждения складываются по знакам. *Nicht sagen! Langsam!* – больше я о них через язык ничего не узнаю.

Как и кусок хлеба, эти слова предоставляют нам ключ к темному подвалу, к почти недоступным для нас катакомбам – к сознанию, к тому, что оставалось тогда в Германии от сознания.

И мы будем выслеживать этих подпольных немцев, будем принохиваться к каждому, кто думает, что мы люди.

Завыла сирена. Мы бросаемся вперед, чтобы оказаться в первых рядах на построении, чтобы быть среди первых в очереди за супом. Если будет добавка, можно попытаться счастья.

На дороге, ведущей к собору, строимся в колонну по пять. Фриц нас пересчитывает, сообщает цифру рыжему эсэсовцу, тот согласно кивает. Идем быстрым шагом по спуску, проходим обтянутые колючей проволокой ворота. Сегодня бобовая похлебка. Не пройдет и получаса, как все это кончится; но сейчас это еще не началось: надо заставлять себя гнать ненужные мысли.

Над нами нависает серое небо, под ногами грязный снег. Сегодня нет ветра; не слишком холодно. Шлепаем по грязи, поднимаясь по склону, ведущему к собору. Наверху нас дожидаются лагерфюрер и тот молодой эсэсовец, что заставлял наших приседать. На площадке перед собором Фриц снова нас пересчитывает. Потом считает лагерфюрер. Все действия выверены. По сигналу мы бросаемся внутрь окруженного колючей проволокой пространства.

Повар вытащил бак с супом. Из него идет пар. Приходит эсэсовец, он взбирается на стол возле кухонной перегородки. Мы стоим в несколько рядов, люди начинают гудеть.

– *Ruhe!*²² – кричит эсэсовец.

Больше ничего не слышно. Повар наливает первым. Проходя мимо эсэсовца, надо снять пилотку. После чего, заложив ее под мышку, подойти к повару и протянуть свой котелок к бадье. Повар опускает черпак в бадью, вынимает его, выливает содержимое в котелок. Мы встаем на цыпочки, чтобы посмотреть на суп.

²² Тихо! (нем.).

– Как он, ничего? – спрашивают сзади.

– *Ruhe!* – кричит эсэсовец.

Получивший свою порцию не отвечает; наклонив голову вперед, скрывается в соборе вместе со своим котелком.

Повар всемогущ. Кому-то он может плеснуть вторую порцию, если захочет. Он опустит черпак во второй раз, плеснет тебе в котелок, и у тебя в животе в два раза больше супа.

Приближается моя очередь. Я уже его вижу, наш суп. Он темного цвета, густой. Черпак опускается и поднимается, словно ковш экскаватора. Наливают тому, что передо мной. Суп густой, жирный, выплескивается через края. В баке он смотрится цельной неподвижной массой, не колышет, не булькает. Подхожу к баку, пилотка под мышкой. Повар смотрит на меня. Опускает черпак на самое дно. Котелок прямо перед баком; он вытаскивает черпак. Я глазам своим не верю: бобы, одни бобы, бездонная гуща. Когда он вытаскивает черпак из бака, слышится шумное бульканье; повар крепко держит свой черпак, не прольет ни капельки, а затем опрокидывает его в котелок, который сразу тяжелеет: он полон до самых краев. Даже в мыслях нет, что я могу расплескать свой суп.

Появляются те, кто уже съел свою порцию. Прилипнув к двери, они ждут добавки. Приходится кричать, чтобы они расступились и дали мне пройти. Они смотрят на мой котелок.

– Неплохая тебе досталась порция, – говорят они.

У них в котелках пусто, вот почему они не сводят глаз с моего, и им хочется что-нибудь сказать.

Добираюсь до своего места. Рене уже там. Он заканчивает свою порцию. Двое французов, что спят по соседству, тоже, они из Оверни, один из них почти ослеп от работы на заводе. Осторожно усаживаюсь на матрац. Товарищи покончили со своим супом. Сидят не шевелясь. Только смотрят на мой котелок, который я пристроил у себя на коленях. Беру ложку и начинаю медленно есть суп, зачерпывая с самого верха.

– Суп сегодня хорош, – говорит Рене, не сводя глаз с моего котелка.

Остальные молчат. Я тоже. Съев несколько ложек, на минуту останавливаюсь. Смотрю в котелок: супа убавилось. Я вычерпал самую жижу. Рене тоже смотрит, насколько убавилось. Скоро я доем, буду как он. Это его успокаивает.

Теперь очередь за гущей. Суп сытный; к лицу приливает кровь. Вопрос о том, хорош ли суп, даже не встает: он превосходен. Ем как можно медленнее, но суп убывает. Снова прерываюсь. Осталось всего несколько ложек. Соскребываю со стенок бобовое пюре, котелок почти пуст, товарищи уже не смотрят. Я набрасываюсь на остатки; ложка скребет по дну котелка, я слышу это. Появилось дно, только его и видно. Супа больше нет.

Кричат: «Кому добавки?» Рене сразу пошел. *Надо* пойти. Я знаю, что мне не достанется, но попытаться все-таки *надо*.

Чуть ли не сотня заключенных окружили повара, который отмахивается черпаком. Появляется старший по кухне капо и наводит порядок.

– *Keine Disziplin, kein Rab!*²³ – кричит он.

Мы знаем, что это значит; дисциплина – это дисциплина уголовников. Это значит, что плотник, который делает всякие мелочи для старосты лагеря и уже намастерил ему игрушек для Рождества, что вечный дневальный по блоку француз-уголовник из педиков, который спит со старостой лагеря, что все их дружки-сотоварищи уже получили свою добавку. Это значит, что Люсьен уже набрал несколько котелков, которые он обменивает на табак; это значит, что все капо наелись до отвала. Это значит, что супа осталось несколько литров и заключенным плевать на дисциплину. Это значит, что будет свалка и капо всех разгонят, направив на толпу брандспойт с холодной водой. Заключенные разбегутся – промокшие, недовольные. Брандс-

²³ Нет дисциплины, нет добавки! (нем.).

пойт уберут; и они снова бросятся в атаку на бак с супом. Тогда в ход пойдут дубинки, и повар, чистосердечно возмущаясь, тоже будет размахивать черпаком.

Зэки, давя друг друга, протискиваются со своими котелками к самому баку. Те, кто остался сзади, крутятся возле сбившихся в плотную кучу товарищей, отыскивая щель.

– *Keine Suppe!* – кричит капо.

Те, кто не может просунуть свой котелок поверх плеча товарища, пытаются сунуть его снизу, рискуя, что им сломают шею.

– Добавки не будет! – кричит повар.

– Шайка дармоедов! – кричат заключенные. – Сами-то набили себе животы! – Давя друг друга, они наваливаются на бак. Капо приказывает повару унести суп на кухню.

– Вы как звери! – ворчит, уходя, повар. Ну вот и всё. Добавки больше не будет!

– *Scheisse!* – ставит точку капо, смотря на толпящихся заключенных.

Повар унес суп на кухню; капо тоже туда пошли, закрыв за собой дверь. Зэки навалились на дверь, еще на что-то надеясь. Выходит один капо и снова разгоняет всех брандспойтом. Заключенные убираются в собор, гремя котелками.

Люсьен, прислонившись к двери, спокойно доедает вторую порцию. Мы остались на улице, нас несколько человек. Мы знали, что не будет никакой добавки. Я все еще держу котелок в руке и поглядываю на дверь кухни. Понятно, что ничего больше не будет. Еще раз смотрю на котелок.

– Вот дерьмо!

Я поставил котелок на стоящий возле кухонной стенки стол.

– *Antreten!* – кричит Фриц.

Мы снова идем на завод.

Этой ночью мы слышим гул самолетов. Равномерный, устойчивый гул. Они летят прямо над нами, гул проникает в собор, заставляя держаться начеку. Он подобен ночи: властно господствует, проникает повсюду, шумит в ушах эсэсовцев, которые из-за него уменьшаются на глазах, становятся как мы. Он наводит страх на толстого эсэсовца, которому тепло под его одеялами. Нам же этот звук ласкает слух, нежит наше тело на матрасе.

Каждый самолет пролетает над лагерем за очень короткий промежуток времени. В нашем мирке не развернешься, он простирается на несколько десятков квадратных метров. Они не знают, что пролетают над нами. Просто в ночной Германии есть вокзалы, заводы и разбросанные по этой сети болевые точки – лагеря, подобные нашему. Они сбрасывают свои бомбы недалеко отсюда, слышны разрывы, кому-то страшно, но мы перестаем чувствовать себя покинутыми. Да, они здесь, мы слышим новые разрывы, приподнимаемся со своих матрасов, прислушиваемся, да, это сила, их просто так не возьмешь. Эсэсовцы дрожат от страха. А мы ничего не боимся; если кого-то охватывает страх, то одновременно разбирает смех. Летчики сидят в своих тесных кабинах: прилетели на час покружить над Германией, никто из них знать о нас ничего не знает, но в своих мыслях мы превращаем бомбардировку в совершенное ради нас деяние. Наслаждаемся плодами ужаса, пронизывающего эсэсовцев.

Когда самолеты прилетают днем и эсэсовцы на своем месте, нас связывает другое общее чувство. Эсэсовцы поглядывают на небо, потом посматривают на нас. Самолеты напоминают им о смысле нашего пребывания здесь: а что, если мы, пусть и на мгновение, перестанем быть *швалью*, и они начинают смотреть на нас как на врагов, как на настоящих противников?

Мелодия этого гула по ночам. Она успокаивает, звучит подолгу. Прикрывает нас. Прикидываешь: они прилетали час назад, значит, через час вернуться. Начинаешь грезить: вот самолет приземляется на нашем поле, берет нас на борт, взлетает; спустя два часа я звоню в свою дверь. Два часа ночи. В два часа ночи, прямо сейчас, пока я здесь, я могу оказаться там, дома. За ночь просчитываешь все это множество раз. Цепляешься за все, что сводит к нулю расстояние, за все, что указывает на то, что его можно одолеть, что ты существуешь не в другом мире: пять

дней пешком – и ты в Голландии, неделя – и ты в Кёльне. Так, пешим ходом, просто проходя своими ногами это расстояние, я, каким я остаюсь здесь, за то или иное время могу стать тем человеком, что в два часа ночи позвонил бы в свою дверь, если бы самолет взял его на борт. Бесконечность возможностей.

Даже не обязательно шагать многие километры. Там, за колючей проволокой, есть дорога, достаточно сделать несколько шагов – и всё. Надо пойти по этой дороге, ориентируясь по звездам: так я вернусь в человеческий мир. Этой ночью все возможно. Препятствия, которые я сам выстраиваю: полосатая роба, отсутствие пищи, физическая слабость, возможность неудачи, повешение, которое мне грозит, если меня поймают. Но это всего лишь препятствия. Их можно преодолеть. Нет ничего невозможного, поскольку я знаю, что запад существует, знаю, куда мне надо идти. Но при всем этом знании я знаю также, что сразу после подъема это равновесие между возможным и невозможным будет нарушено. Не знаю я только одного: когда я прав – сейчас или после подъема. Обретенное ночью могущество испарится после подъема. Дорога будет вести на завод; запад обратится небольшим лесом, простирающимся над дорогой; все остальное сойдет на нет. Повсюду будет колючая проволока, часовой и выпавший мне удел. Я буду думать и ходить, таская за собой колючую проволоку, капо, голод и раны, буду втягивать голову в плечи, передвигаться, согнувшись в три погибели, буду детищем лагеря, а не прежней жизни. При всем при том я говорю по-французски и мне, как и моим товарищам, случается быть *обходительным*, извиняться, если я кого-то ненароком толкну: после подъема это скорее внушает мне мысль, что все мы здесь сумасшедшие. Потому как имеем то, что имеем; живем так, как живем; и то и другое невозможно.

Если бы какой-нибудь простодушный обыватель понаблюдал за нами на протяжении нескольких дней, он наверняка усомнился бы в том, что все мы на одной стороне, что все здесь были когда-то бойцами.

Он увидел бы, как один француз, работающий на заводе, мастерит игрушки для детей немца-бригадира: маленькие танки, «Тигры»; как француз-надсмотрщик кричит на другого француза за то, что тот не работает; как немец-бригадир похлопывает по плечу мастерающего игрушки француза, награждая его лишним куском хлеба, а через минуту отвешивает оплеуху русскому, который стоит в двух шагах и недостаточно споро работает; как рядом с русским из кожи вон лезет чех, тоже стараясь сделать игрушку и заработать лишний кусок хлеба; как избивают дубинками другого француза, который плохо работает; как другой русский жрет третью порцию супа.

Утром, еще до рассвета, когда идет раздача хлеба, этот простодушный наблюдатель услышал бы наши крики – крики итальянцев, французов, русских, которые давят и колотят друг друга, чтобы не оказаться в хвосте; он увидел бы, как капо наводит порядок.

Эсэсовцам мало того, что они нас обрили и переодели. Чтобы презрение было полностью оправданным, им надо, чтобы заключенные дрались за кусок хлеба, чтобы они зверели в этих драках за еду. Эсэсовцы знают, что делают. Но именно в этом пункте они показывают себя вульгарными идеалистами. Да, заключенные, штурмующие ради добавки бак с супом, представляют собой *гнутое* зрелище, однако они не унижаются, как полагают эсэсовцы, как подумал бы этот простодушный наблюдатель, как думает всякий раз здесь каждый из тех, кто не бросается за добавкой.

Ибо подлинная цель этой схватки заключается в другом – надо сохранить жизнь. Ибо каждая смерть являет собой победу эсэсовца. Но ради жизни заключенные не пойдут на то, чтобы эксплуатировать друг друга. Это эсэсовцы их эксплуатируют, эсэсовцы и капо-уголовники. Кричащее противоречие между продолжающейся где-то там войной и здешними схватками выражается в первую очередь в полном лице капо (ему-таки удастся сохранить *человеческий облик*, но никогда прежде он, этот облик, не был столь хамским, столь омерзительным,

никогда прежде не таил в себе столь непомерную ложь); во вторую очередь, в улыбке эсэсовца, которая объясняет все это.

Они не враги, эти заключенные, что дерутся между собой за добавку или орут друг на друга. Не зря они обращаются друг к другу, употребляя слово *товарищ*. Не они в ответе за эти драки, их поставили в такое положение.

Я прошел прямо в ангар завода. Половина седьмого, на улице было темно и шел снег. Побродил какое-то время по цехам; шум компрессора отбивал ритм завода. Толстый капо Эрнст, отвечавший за ангар, сидел за столом возле печки. Он уже перекусил в соборе – это был его первый завтрак. Теперь капо собирался подзаправиться огромным ломтем штатского хлеба и мармеладом.

За ним наблюдали заключенные; они стояли в цеху, прислонившись к своим тискам. «Вот жирная корова». Беззубый Эрнст, который не упускал случая посмеяться с штатскими, эсэсовцами или своими дружками-капо, сегодня был сам не свой: ел почти с мрачным видом. Сидя на стуле, он широко расставил локти на столе и наклонился над столом. Никто, даже немец-гражданский, не сказал бы ни слова, увидев, что он ест в рабочее время. Тем не менее Эрнст старательно прятал хлеб в ладонях. Баночку с мармеладом он поставил в приоткрытый ящик стола. Эрнст отламывал кусок хлеба, макал его в мармелад и отправлял в рот. Он недавно стал капо, поэтому не смел выставить баночку на стол и спокойно есть. Вот почему эта огромная масса – на самом деле это просто слегка полный мужчина, но здесь он действительно выглядел огромной массой – не соответствовала его быстрым движениям. Засовывая кусок хлеба себе в рот, беззубый Эрнст приподнимал голову и быстро озирался, выискивая опасность, которой даже не пахло. Когда кусок оказывался во рту, Эрнст становился еще мрачнее, может быть, из-за того, что ему больше ничто не угрожало: рот – место надежное, никто не вытащит оттуда его кусок хлеба. Тогда у него застывали глаза, раздувались щеки и основательно ходили челюсти – Эрнст выполнял свой долг. Ему было не до смеха. *Essen, essen!*²⁴ Не всякий этого заслуживал. Эрнст презирал тех, кто не ел, кто был худым: они стояли на низшей ступени.

Я вышел на минуту с завода; начинало светать. Свет в ангаре становился бледнее. Поле было покрыто снегом; появилась *Zaun-Kommando*.

В сортире – куске поля, огороженном четырьмя щитами с ямой посередине, – на грязном, залитом мочой снегу топтались заключенные; сюда приходили не обязательно для того, чтобы справить малую или большую нужду: здесь можно было спокойно постоять, сунув руки в карманы. Именно в сортире заключенные здоровались, обменивались вопросами.

– Что новенького?

– Ничего.

Усевшись на корточках над покрытой снегом выгребной ямой, несколько русских и поляков затягивались по очереди одним окурком. Подходили другие заключенные. С насыпи, вдоль железной дороги, квадрат сортира был как на ладони. В рассвете проступали полосы на робах, заключенные сидели у ямы кучками по три-четыре человека. Когда кто-нибудь замечал приближающегося Фрица или Алекса, те, кто курил окурком или держал руки в карманах, исчезали. Оставались только те, кто срали: что им скажешь. Они хранили спокойствие, поскольку сидели на краю ямы и тихо разговаривали о супе. В этот момент в квадрате туалета появлялся Фриц. Они делали свое дело и сохраняли спокойствие. Фриц внимательно смотрел на них: они и в самом деле срали. Капо убирался обратно на завод.

Поскольку на заводе я не смог пристроиться ни в одном из цехов, мне пришлось в голову взять в руки метлу. Мне надо было что-то держать в руках, но подметать пол назначались в основном старики. Я подолгу расхаживал по ангару, но, завидев, что ко мне приближается немец, начинал мести. Сначала никто не обращал на меня внимания, но через какое-то время

²⁴ Есть, есть! (нем.).

до них дошло, что я не старик. Гражданские стали смотреть на меня так, будто я издеваюсь над ними со своей метлой; я работал меньше, чем они. Подметая пол, я словно смеялся над ними, а главное, мне было наплевать на эти кабины, которые они собирали. Все мои товарищи были распределены по цехам. За ними смотрели мастера; они работали на эти кабины, а я гулял. Я прогуливался по ангару с женским орудием труда, а их женщины обрабатывали металл для кабин самолетов и просто так не гуляли.

Мне пришлось оставить метлу, когда я заметил, что вызываю слишком большое недовольство, что еще немного, и на меня начнут орать. Тогда я взял в руки большую корзину и принялся собирать отходы, куски дюралюминия, валявшиеся на полу. Надо было наклониться, выпрямиться, сделать несколько шагов и снова наклониться. Я по-прежнему не работал на кабину, но это мое занятие должно было успокоить немцев, ведь мне то и дело приходилось наклоняться и собирать отходы. Поскольку мне не случилось быть этим необычайным ээком, токарем или механиком, я сам превратился в ээка-отходы, который передвигается на своих ногах и своими руками собирает отходы производства. Совершенное совпадение трудовой функции и человека; эта гармония их успокаивала, все было в порядке.

Немцы испытывали уважение к заключенным, трудившимся за их станками и машинами, поскольку те методично изготавливали детали, которые должны были послужить Германии; должно быть, они думали, что более уважаемый работник был более свободным.

До них не доходило, что, согнувшись в три погибели, собирая отходы, не привлекая к себе ничего внимания, я мог испытывать такое счастье, которое испытывал, когда уходил пописать.

Еще один заключенный стал собирать отходы. Это был немец лет пятидесяти, довольно высокого роста, светловолосый, слегка сутулый. Его отправили в лагерь, потому что он был *отказником*, то есть не пошел в армию по религиозным соображениям: он был евангелистом. На его робе был лиловый треугольник.

Нацисты потрудились выделять верующих немцев цветом треугольника. С ними обходились, как и с остальными заключенными, но треугольником лилового цвета обозначался *отказник*, то есть тот, кто Гитлеру противопоставил Бога. За ним признавали *свободу совести*. Эти немцы были врагами в силу присущей им, в отличие от нацистов, совести, от которой они не могли отделаться. Странное дело, но за немцами-политическими – с красным треугольником – не признавалась свобода совести. В их отношении не вставал вопрос о совести. Согласно нацистской мифологии, приход Гитлера к власти способствовал выявлению зла; силой его заклинаний эти треугольники всплыли по всей Германии, а потом и за ее пределами.

В Бухенвальде среди отказников находились такие, кто не остался равнодушен к проведенному нацистами разделению. Они ощущали, что наделены совестью, порой даже чистой; за ними была совесть тех, кто представлял для нацистов элемент беспорядка. Даже там некоторые из них ничтоже сумняшеся поддерживали установленную нацистами иерархию совестей, считая собственную номером один.

Работавший со мной в ангаре евангелист не считал, что природа его совести чем-то отлична от нашей.

У него не было корзины; он подошел ко мне, и мы решили работать вместе. Он не знал французского, я с большим трудом понимал немецкий.

Мы медленно ходили по заводу, держа корзину каждый за свою ручку. Время от времени останавливались, поднимали кусок дюрала, бросали его в корзину и снова шли.

Завод был наполнен шумом компрессора и стуком клепальных молотков. Наша работа была тихая, бесполезная. Даже самый никудышный чернорабочий не согласился бы всю жизнь собирать куски дюрала; просто наклоняться, чтобы не ходить, опустив руки; не работа, а одна видимость; работа почти надуманная, дальше некуда.

Евангелист не разговаривал со мной, но когда мы останавливались, он смотрел на меня, и его лицо, которое было прямо передо мной, казалось столь же ослепительным, как и то, что

представало передо мной в осколке зеркала. По-другому он не мог что-то дать мне понять. Я пытался разговаривать с ним по-немецки, но и из стремления поговорить являлись лишь обрывки фраз, изреченные теми же варваризмами, которые я использовал с капо или мастерами. Он отвечал. Я просил его по несколько раз повторять одну и ту же фразу, иной раз до меня доходило: «Германия утратила понятие Бога», «Бог – это радость внутри меня, с которой просыпаюсь по утрам». Мне с трудом давался этот язык, каждое слово которого прекрасно поняли бы эсэсовцы, язык отказника, уверявшего меня, что он счастлив.

Приложив немалые усилия, чтобы понять друг друга, мы в бессилии замолкали, оставляя каждый по свою сторону корзины. Его лицо все еще хотело что-то сказать, и с этими словами, которые он с трудом складывал и которые я не понимал, он ускользал. В этом языковом болоте я время от времени ухватывал: *Musik, Musik*²⁵; он произносил это слово так, как произнесли бы его эсэсовцы. А говорил он о Моцарте. Вокруг нас работали наши товарищи. Мастер пинками учил одного из них. Постукивал компрессор. Слово *Musik* звучало в голове и заглушало шум завода. Я уловил слово и больше не просил повторять фразу. Евангелист разговаривал сам с собой. Глаза у него были голубые и нежные. Я не понимал, но схваченное мной слово освещало все его фразы. Когда он остановился, я замотал головой, выражая несогласие, потом заговорил по-французски, а он отвечал по-немецки; наконец мы замолчали в отчаянии, словно стыдясь того, что так ни к чему и не пришли.

Мы обошли весь завод, время от времени останавливаясь и ставя корзину на пол. Она была почти полной. Мы пошли на улицу, чтобы выкинуть отбросы за главным складом, стоявшим вдоль железной дороги.

Лучи бледного-бледного солнца падали на снег; дул холодный ветер. Мы шли медленно, размеренным шагом. Да, мы не понимали друг друга, но что тут надо было еще объяснять? Мы не ощущали ни холода, ни голода, ни присутствия эсэсовцев. Главное, мы были способны смотреть друг на друга просто так, чтобы смотреть друг на друга, и были способны пожать друг другу руку. Мне не следовало оставлять этого человека. Никогда прежде мне не хотелось так кричать от радости, а ведь эсэсовцы были в двух шагах, выгуливая по полю свои черепа со скрещенными костями. Мы пытались сдерживать эту радость, удерживать ее в себе как можно дольше и не хотели расставаться друг с другом.

Мы остановились за складом, где валялась куча дюралюминия и ржавого железа. Поблизости ни души. Мы вывалили отбросы на кучу и поставили корзину на землю. Чуть дальше по железной дороге ходили взад-вперед часовые. Пониже мы увидели Фрица, он крутился возле сортира.

Мы с минуту постояли. Евангелист оглядывал лес, поле и холм, что виднелись по ту сторону насыпи.

– *Das ist ein schön Wintertag* (Прекрасный зимний день), – сказал он.

Его лицо сияло. Лес был прекрасен. Мы еще посмотрели на него.

Потом взяли корзину каждый за свою ручку и вернулись на завод.

Воскресное утро в начале декабря. Мы по-прежнему спим в соборе. Карл сегодня не кричит. Мы возвращаемся из этой ночи, откуда каждый из нас возвращается домой. Мне ничего не снилось – мне редко снятся сны, – но я проснулся с ощущением собственной спальни в голове. Вчера вместе со сном ко мне вернулось оцепенение, ноги поджались сами собой, пробуждение было подобно четвертованию, лишило головы; я ничего не узнавал. Потом я ощутил возле себя тело Рене, и картинка сменилась, спальня преобразилась, вновь явился собор.

Обычное время подъема миновало. Прошел даже тот краткий миг тревоги, когда задаешься вопросом, а не повезло ли нам сегодня из-за опоздания Карла. Легкое удивление, что никуда не торопимся. Нам не по себе от этой анархии, что воцаряется в соборе. Наступив-

²⁵ Музыка, музыка (нем.).

ший беспорядок – всего лишь сбой в привычном ритме. Один идет, не торопясь, умываться. Его товарищ еще лежит. Другой медленно одевается. Многие просто болтают. Это замедление бесценно. Можно не торопясь натянуть башмаки, с чувством поздороваться с товарищами, не спеша сходить пописать; начинаешь во всем тянуть время – это западня воскресного утра. Ибо нас не оставят в покое. Эсэсовцы не выносят этой церкви, где кто-то еще лежит, другие на ногах, а третьи пытаются что-то писать. Необходимо, чтобы этот день не особенно отличался от остальных. По воскресеньям гражданские не приходят на завод, стало быть, надо подыскать нам какую-то другую работу.

Тем не менее в этот день эсэсовцам тоже хочется поспать подольше, а нам хватит и того, что обычное время подъема прошло: день становится непохожим на другие. Эсэсовцам не под силу победить воскресенье, равно как и сон. Нам удалось сохранить определенный ритм недели, у нас есть свой календарь. В первую очередь, основной. Мы установили свои вехи. У нас было 11 ноября. Потом Рождество. Затем будет Пасха – величайшие мифологические даты начал и кончин. Но бывают передышки поскромнее: воскресные дни. Раз существуют воскресенья, мы знаем, что прошло пять, шесть или семь воскресений, то есть нам точно известно, что время течет, что это выигранное нами время. Доля игры в нашей жизни столь ничтожна, мы настолько отрезаны от мира, в котором что-то происходит, что вторник для нас ничем не отличается от понедельника, среда от четверга и так далее, дни лишены для нас опознавательных знаков. Только воскресенье способно вытащить из вязкой топи каждодневной рутины, оставлять в ней такие просветы, что какая-то часть может быть определенно отброшена в прошлое. Мы лелеем это прошлое по мере того, как оно ширится. Единственно возможная достоверность – у нас за спиной.

Поскольку кончается день, неделя тоже заканчивается, заканчивается месяц. Но это деление времени может быть более тесным: в девять утра на заводе, прошло три часа с подъема, до обеда осталась ровно половина: полдень, середина рабочего дня. После полудня часы становятся все драгоценнее, мы их буквально глотаем; четыре часа: еще два часа. В девять утра мы были словно в другом мире: как можно было оставаться здесь, в то время как нам предстояло еще десять часов работы? Как мог пройти каждый из этих часов? Первый час – с 6-ти до 7-ми – нужно было принять этот день, войти внутрь него. Прилив бодрости от того, что тебе это удалось. Следующий час тянется очень долго; позади слишком мало времени, невозможно понять, что у тебя позади. Перерыв в девять и т. д. Легко вообразить, что ты настолько чужд тому, что делаешь, что все твое время проходит в подсчете прошедших или предстоящих часов и минут, что ты проводишь свое время, считая время. В действительности только в минуты передышки время обнажается и дает понять, что переступить через него, как и через пустоту, невозможно. Тем не менее время идет, пока ты разглядываешь какую-нибудь деталь, пока стучишь молотком, пока идешь в сортир, пока тебя бьют дубинкой по голове; время идет, пока ты смотришь на ненавистное лицо; время идет...

– *Alle raus!* (Все на улицу!)

Капо сходили в барак эсэсовцев и получили распоряжения.

– *Alle raus!*

Никакого движения. Дверь открыта, на улице светло. Должно быть, сейчас больше семи. Мы уже растоптали запрет. Капо надрываются в крике: это не имеет значения. Мы провалялись на матрацах на два часа больше, кое-что вырвав себе из лап невозможного. Он орет на весь сбор: «*Alle raus! Alle raus!*» – но никто не шевелится. Даже дубинка не помогает. Кое-кто поднимается, но другие так и лежат.

Ощущается необходимость эсэсовца. И вот он является. Собственной персоной. Передача полномочий не удалась. Понадобилось его присутствие. Машина дает сбой. Мы что, не понимаем? Между тем мы прекрасно понимаем, что произойдет, если нам вздумается поиграть.

На сей раз поднимаемся. Он здесь. Но внутрь не заходит. Стоит в дверях, чуть в стороне, чтобы мы его видели, с дубинкой в руке, но не загораживая прохода. С виду не злобный. Только вот, когда первый заключенный, сняв пилотку, быстро проходит мимо, в ход идет дубинка. Он бьет с какой-то холодной силой, которую гнев не усилил бы. Чтобы выйти на переключку, нужно пройти мимо него. Поэтому остаемся внутри, пытаемся хитрить, надеясь, что он уйдет или отвернется. Но капо, который выгонял наших товарищей из дальнего угла собора, поворачивается к нам: «*Raus! Los!*» Надо выходить. Эсэсовец на своем месте. Пойдешь в одиночку, точно перепадет. То же самое, если будешь тянуть время. Пять-шесть человек, толкаясь, кидаются к двери. В ход идет дубинка. Но она обрушивается на кого-то одного. Пока он бьет, остальные выбегают на улицу. Эта операция повторяется несколько раз.

Все на улице, в соборе остаются только больные, они лежат на матрацах в дальнем углу. Мы более получаса стоим на страшном ветру и холоде. Работы нет, но нас все равно держат на улице. Надо, чтобы у нас не было повода выказать хоть долю радостного удивления. Мы так и будем стоять все утро. Потом нас поведут на камни.

Воскресенье сказывается во всем, что нас окружает. На дороге, в поле, на лесных опушках – ни единого человека.

Над нами темное-темное небо. Окруженная холмами небольшая арена, на которой мы находимся, замкнута со всех сторон. Мы на ней будто механические человечки. Как ни посмотри – вблизи или издали, – мы ничего не весим, не имеем власти над вещами.

Тот, кто, шагая вдоль колючей проволоки, выходит на дорогу, зыбкий черный силуэт на снегу, несет в себе могущество земли. Но если он увидит нас за колючей проволокой, если ему просто случится подумать, что в природе возможно нечто иное, нежели человек, который свободно шагает по дороге, если он отважится на подобную мысль, то ему не миновать ощущения, что ему угрожают все эти бритые головы, все эти головы, ни одну из которых ему не выпало знать, но которые все как одна воплощают для него самую что ни есть неизвестность. И может быть, ему подумается, что сами эти люди заражают своим присутствием деревья, которые издали обступают колючую проволоку; и тот, кто на дороге, рискует почувствовать тогда, что его душит сама природа, будто замкнувшаяся на нем.

Нет, царствие человека – действующего или мыслящего – не прекращается. Эсэсовцам не дано изуродовать род человеческий. Они сами замкнуты в том же роду, в той же истории. *Нам не надо, чтобы ты был*: гигантская машина была сооружена на этой идиотской и ничемной заповеди. Они сожгли людей, остались тонны пепла. Они могут тоннами взвешивать эту безликую материю. *Нам не надо, чтобы ты был*, но они не могут решить – вместо того, кто через минуту превратится в пепел, – быть ему или не быть. Они должны принимать нас в расчет, пока мы живы; и от нас, от нашей упорной воли к жизни, зависит, чтобы, когда они придут нас убивать, они были уверены, что лишили себя всего. Они не смогут перечеркнуть историю, в силу которой этот засохший пепел будет более плодотворным, нежели жирный скелет лагерфюрера.

Мы не можем сделать так, чтобы эсэсовцев сейчас не было или чтобы их не было в прошлом. Они сжигают детей, они сами этого хотели. Мы не можем сделать так, чтобы они этого не захотели. В них – сила, как и в человеке, что идет своей дорогой. Как и в нас, ибо даже сейчас они не в состоянии помешать нам жить по своей воле.

В самом деле, как-то раз, с месяц назад – через несколько дней после того, как рейнец сказал нам *Langsam!* – он зашел в один из блоков подвального склада. Мы были там с Жаком, разбирали детали. Он протянул нам руку. Это тоже стоило лагеря. Мы обменялись рукопожатиями. Тут кто-то подошел, и он убрал свою руку. Очевидно, ему было необходимо подойти к нам и пожать нам руки. Он умудрился сделать это сразу после того, как пришел на завод. Он выглядел мрачным и нерешительным. На меня пахнуло чистым человеком, чистой одеждой, этот запах смущал. Мы стояли рядом с ним. Для любого другого, кроме нас троих, он был

просто немцем, который отдавал *Haefiling*²⁶ указания по работе: пустые глаза, что пробежали по полосатой робе; голос, что командовал подневольными руками.

Мы стали сообщниками. Но он пришел не столько для того, чтобы нас ободрить: он искал уверенности, твердости. Пришел приобщиться к нашей силе. И это рукопожатие было сильнее, чем тьякканье тысяч эсэсовцев, чем весь этот аппарат печей, псов, колючей проволоки, голода, вшей.

Глубины своей души эсэсовец мог открыть лишь перед нами. Но, со своей стороны, этот другой немец на протяжении многих лет не чувствовал такого возвращения к жизни, как в тот момент, когда пожимал руку одному из нас. И в этом скрытном единичном жесте не было ничего частного, в противоположность всем публичным поступкам эсэсовцев, сразу становившимся достоянием истории. Всякое человеческое соприкосновение немца с одним из нас было знаком решительного восстания против всего порядка СС. Невозможно было сделать то, что сделал этот рейнец, – то есть человечно подойти к нам, – не определившись при этом исторически. Отказываясь видеть в нас людей, эсэсовцы превращали нас в исторические предметы, которые уже не могли быть предметами человеческих отношений. Отношения эти могли иметь такие последствия, что невозможно было даже помыслить их установить, не осознав при этом того непосильного запрета, против которого следовало выступить; необходимо было оторваться от сообщества, усиленного борьбой, согласиться пойти на бесчестье, мерзость отступничества, даже предательство, чтобы отношения эти, едва наметившись, тотчас вошли в историю, как будто представляя собой собственно пути – узкие, подпольные пути, по которым была вынуждена следовать в данном случае история.

Этот карьер находился неподалеку от церкви, на спуске. Надо было выворачивать камни и перевозить их на тележке до стройки вблизи завода.

Часть узников должны выворачивать камни, другие толкают тележку. Лопат на всех не хватает. Большая часть тех, кто не толкают тележку, топчутся на месте, мерзнут. Работы нет, но все должны быть на улице; это самое главное. Мы должны оставаться здесь, сбиваясь в маленькие группы, теснясь, дрожа от холода, втянув голову в плечи. Между зебровидными людьми, у которых зуб на зуб не попадает, гуляет ветер. У всех кожа да кости, плоти почти нет. Только воля, она сидит в самом нутре, воля скорбная, опустошенная, но только она позволяет держаться. Ждать. Ждать, когда пройдет этот холод. А он не щадит ни рук, ни ушей, ни единой частички вашего тела, которую может умертвить, а вас оставить в живых. Холод, эсэсовцы. Воля остаться на ногах. Стоя ведь не умрешь. Холод пройдет. Не надо кричать, возмущаться, стараться убежать. Надо заснуть нутром, выдюжить этот холод, как пытку, свобода наступит потом. Выдюжить хотя бы до завтра, хотя бы до обеда, терпение, терпение... На деле после обеда на смену холоду придет голод, потом снова холод, который подавит голод; ночью вши прогонят и холод и голод, после чего ярость, что охватит вас под ударами, прогонит вшей, холод, голод, а затем война, которая никак не кончается, прогонит ярость, вшей, холод и голод, и наступит день, когда лицо в зеркале проорет: *Я еще жив*; придет пора, когда их речь, что никогда не смолкает, поглотит вшей, смерть, голод, лицо, и все это время непреодолимое пространство замкнет все на арене между холмами: собор, где мы спим, завод, сортир, плац с его топтанием на месте и это каменное место, откуда нужно выворотить своими бесчувственными раздувшимися ладонями тяжелый обледенелый камень, приподнять его и бросить в тачку.

На нас невозможно смотреть. Это наша вина. Ведь мы – чума человеческая. У здешних эсэсовцев нет евреев под рукой. Мы вместо них. Они слишком привыкли иметь дело с виновными от рождения. Если бы мы не были чумой, то не стали бы фиолетовыми и серыми, были бы чище, опрятнее, держались бы прямее, правильнее выворачивали бы свои камни, не краснели

²⁶ Заключенному (нем.).

бы от мороза. Наконец, осмелились бы смотреть прямо в глаза эсэсовцу, этому воплощению силы и чести, столпу мужественной дисциплины, который не запятнает даже тень зла.

Крестьянка, что живет рядом с собором, надела воскресное платье, сапоги. Краснощекая, крепкая, всегда смеется, когда видит нас... Ей даже в голову не приходило, что возле ее фермы соберут столько смешных людей. Только благодаря своим эсэсовцам она видит такое.

Сынок, член гитлерюгенда, сегодня в форме, штык-нож на ремне, повязка со свастикой на рукаве. Слегка прихрамывает, от чего выглядит крепче. Безусый желторотый придурок. На редкость симпатичный. Тоже гордится своими эсэсовцами.

Иногда немка режет цыпленка для лагерфюрера. Голова с гребешком валяется у ограды.

Сын несет цыпленка лагерфюреру. О чем-то с ним разговаривает, посматривая в нашу сторону. Парень выставляет ногу вперед, скрещивает руки на груди. Лет шестнадцати. Первый раз в жизни видит русских, поляков, французов, итальянцев...

«Германия, она огромная. В Германию много навезли такого добра. Разумеется, фюрер мог бы приказать, чтобы их поубивали. Но он хороший и великодушный человек, наш фюрер. Но все же они омерзительны, эти типы. И чего только фюрер решил оставить в живых столь мерзких тварей? Стоит выставить ведро похлебки на дворе, они налетают, как звери, лаются друг с другом, дерутся. *Scheisse, scheisse!* Когда люди понятия не имеют о дисциплине, разве они заслуживают жизни? И это враги Германии? Падаль, какие там враги. У Германии не может быть таких врагов. Разве они в состоянии думать? Когда я спрашиваю солдата, что он о них думает, он морщится, иногда смеется и всегда отвечает: *Scheisse!* Я начинаю приставать, он говорит, что ему нечего сказать. Похоже, он о них не думает, ну просто совсем не думает».

Юный придурок смотрит на нас, сбившихся в кучу в карьере. Идет поговорить с охранником. Охранник – старик, предпочел бы оказаться дома. Придурок не может взять в толк, почему охраннику нет до нас никакого дела, почему он позволяет нам, будто домашним животным, нехотя обрабатывать наш хлеб. Он же из гитлерюгенда, ему можно довериться. Старик отводит глаза. Юный придурок никак не уймется и спрашивает, не противно ли ему воевать вот так, сторожа стадо скотов. Солдат отвечает, что ему плевать на войну. У него меховая подкладка с русского фронта. Винтовка на плече, он не будет в нас стрелять, не будет нас доставать. Рука придурка тянется к штык-ножу; он не сводит с нас глаз. Часовой послал бы его подальше, но, возможно, у хозяйки найдется лишний кусок свинины, к тому же этот юнец из гитлерюгенда.

Придурку мнится, что солдат держит его за мальчишку, и он убирается восвояси, прямой как палка.

На дне карьера дюжина эзков сбились в кучу, чтобы защититься от холода. Те, кто остался снаружи, пытаются пролезть в середину кучи. Нижнюю челюсть сковало холодом. Пытаешься что-то сказать, язык скользит, слова складываются лишь наполовину. Ведешь свою крохотную битву, чтобы отбить, завоевать лишний сантиметр тепла, чтобы пробиться вглубь кучи и там удержаться. Прилипаем друг к другу. Тремся друг о дружку, глухо сражаясь за то, чтобы вытеснить того, кто в середине, – не имея ничего против него, не ругаясь с другими, ну разве лишь изредка вырвется «Вот сволочи!» – и кто-то все равно окажется снаружи, в свою очередь станет щитом. Время от времени раздается смех – это от холода. Это как будто треснуло лицо. А снаружи ты словно нагишом. Все время опасаясь за легкие. Об этом раньше не думалось. Никогда не понять, когда именно тебя зацепит. Легкие уже не ощущают укусов холода. Его власть распространяется без лишних слов, без лишней грубости. Сразу и не поймешь, что приговорен к смерти; а потом увидишь, что сопротивление бесполезно. Легким не прикажешь, ничего у них не попросишь. Они глухи и к молитве, и к воле. Холод сильнее эсэсовцев.

К нам подходит *Blockführer SS* – помощник лагерфюрера. Косая сажень в плечах, классическая арийская морда гигантских статуй нацистского производства.

Куча распадается на глазах. Все расходятся по стенкам карьера; кончиками распухших пальцев – даже кулак не сожмешь – берешь камень поменьше и несешь к тележке. Подходит и охранник. «Los, los!» – произносит он не очень уверенно. Он не привык лаяться. На него смотрит эсэсовец – широко расставив ноги, весь вытянулся, в руке плеть, фуражка с черепом и костями надвинута на самые глаза.

«Придурок, ты же ничего не видишь. В это мгновение, если бы я только мог взять тебя за шкуру, встряхнуть, первым делом я бы тебе вдолбил, что у меня дома есть своя кровать, есть дверь, которую я могу закрыть на ключ, что если кто-то хочет меня увидеть, он должен сначала позвонить в мою дверь. И что нет ни одного из этих типов, которых ты здесь видишь, чье имя не фигурировало бы на листе, слышишь, и кого не хотелось бы сжать в своих объятиях. Как тебе это понять? И что есть девушки, которых не отличишь от немецких девушек, ради них мужики согласились бы принять смерть, их образы запечатлены на фотографиях, с которых в это самое мгновение не сводят глаз в теплых домах, но сейчас они преобразились в зебровидных старух, совершенно неотличимых от той падали, что перед тобой. А есть еще старухи, как твоя бабушка, матери, как твоя мать, рожавшие ровно так, как она разродилась тобой, в это самое мгновение они дерутся друг с дружкой за миску похлебки, но у них седые волосы, правда, их сбрили. Я сказал бы, что мы тоже были когда-то мальчишками, кричали во все горло, что над тобой, так же как надо мной, когда-то ворковала мать! Что это о тебе, мой маленький эсэсовец, можно было сказать: „Какой прелестный ребенок!“ Если тебе это сказать, ты бы, наверное, ответил со смехом „*Ja wohl!*“

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.